

Михаил Волконский

Князь Никита Федорович



Михаил Николаевич Волконский Князь Никита Федорович

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7458650

Аннотация

«По воле государя князь Никита Федорович Волконский был записан в Преображенский полк и отправлен в числе других молодых людей за границу для обучения разным наукам и искусствам. Он безостановочно ехал морем от Петербурга до Риги, откуда должен был продолжать путешествие на лошадях, направляясь в Курляндию, на Митаву...»

Содержание

Часть первая	5
I. Митава	5
II. Кудесник	15
III. Герцогиня Курляндская	25
IV. Охота	39
V. Бестужева	55
VI. Бал	64
VII. Отец	77
VIII. Старый замок	86
IX. Счастливый день	102
X. А день все-таки счастливый	118
Часть вторая	130
I. Прошрое	130
II. В Петербурге	138
III. Рабутин	157
IV. Курляндское дело	175
V. Проповедь духа	190
VI. Подметное письмо	200
VII. Смерть	215
VIII. Все к лучшему	231
Часть третья	248
I. Старый знакомый	248
II. Неудача	267

III. Новый год	285
IV. Чем кончится	295
V. Разлука	312
VI. В деревне	324
VII. Гость	335
VIII. Снова в Петербурге	343
IX. В монастыре	362
X. Конец	371

Михаил Волконский Князь Никита Федорович

Часть первая

*«Ты защищал, Господи, дело души моей,
искупляя жизнь мою».*

«Плач Иеремии», гл. III, ст. 58.

I. Митава

По воле государя князь Никита Федорович Волконский был записан в Преображенский полк и отправлен в числе других молодых людей за границу для обучения разным наукам и искусствам. Он безостановочно ехал морем от Петербурга до Риги, откуда должен был продолжать путешествие на лошадях, направляясь в Курляндию, на Митаву.

Два года тому назад Рига, сдавшаяся русскому оружию, вошла уже в состав Российской империи, и, согласно данному царем приказанию ни минуты не останавливаться в пределах России, Никита Федорович не мог мешкать в этом городе. Только в Митаве мог

он отдохнуть.

Он остановился здесь у товарища своего детства Черемзина, занимавшего, по своему придворному положению, небольшую квартиру в самом замке Кетлеров, служившем резиденцией герцогини Курляндской.

Черемзин, разбитной молодой человек, побывавший за границей, в Париже, живо впитал в себя верхи европейской образованности и покрылся лаком внешнего приличия, созданного щепетильным этикетом блестящего двора Людовика XIV. Это было все, что он вынес из своего пребывания за границей; впрочем, он привез с собою оттуда также несколько ящиков книг, красиво переплетенных, но не прочитанных.

На другой же день своего приезда в Митаву Волконский побывал у русского резидента в Курляндии Бестужева, силою царя Петра управляющего всем герцогством, согласно воле своего государя.

Бестужев, к которому у князя Никиты было рекомендательное письмо из Петербурга, принял его ласково, пригласил к себе на обед, расспросил о петербургских знакомых, о государе, о дворе и тут же представил своей дочери Аграфене Петровне.

В гостиной Бестужева пахло какими-то очень сильными, должно быть, восточными курениями, стояла золотая мебель, обитая голубым штофом, и блестел, как зеркало, вылощенный, натертый воском паркет.

Князь Никита видал роскошь, видал богатые дома в Петербурге, недавно выросшем на болотах, и в Москве, но там было все далеко не то, что здесь. Не было этой блестящей чистоты, отделанности, законченности и вместе с тем кажущейся простоты.

Молодая хозяйка дома тоже казалась вовсе не похожею на тех, вечно робевших и боявшихся взглянуть, не только говорить, молодых девушек, полных и румяных, которых Никита Федорович видал до сих пор. Бестужева не только не робела пред ним, но, напротив, он чувствовал, что сам, с каждым словом все больше и больше робеет пред нею и не смеет поднять свои глаза, глупо уставившиеся на маленькую, плотно обтянутую чулком, точеную ножку девушки, смело выглянувшую из-под ловко сшитого шелкового платья.

Волконский не знал, как и вовремя ли он встал, поклонился и вышел осторожно, чтоб не поскользнуться, ступая по паркету. Выходя, он решил, что больше не поедет к Бестужеву.

– Ты понимаешь, – сказал он в тот же вечер Черемзину, – что мне здесь у вас не нравится? Видишь ли, воли нет, простора, все тут сжато. Вот и дома. Они, пожалуй, и больше наших московских, а все-таки как-то давят; не хоромы они... Так и все. Дворец вот...

– Замок, – поправил Черемзин.

– Ну, замок, что ли... Ты посмотри: окошечки узень-

кие, стены толстые, рвы, валы кругом. Да и люди тоже, скажу тебе, все в себя сжались, точно весь мир они только и есть, точно все существо жизни они пригнули к себе, да и сдавили его. Разве так, без воли, проживешь?

– Это ты, должно быть, с дороги устал, мой милый, – возразил Черемзин. – А, впрочем, если желаешь простора, выйди погулять за город: там, брат, такой уж простор – прелесть...

– Что ж, и пойду, – согласился Волконский, – а то здесь просто душно... Ты не пойдешь? – спросил он уже со шляпой и тростью в руках.

Черемзин зевнул, закинул руку за голову и отрицательно покачал головой.

– Ну, так я один пойду.

– Смотри, не опоздай вернуться – после заката в замке поднимут мост, – крикнул Черемзин ему вслед.

Выйдя из замка, Волконский направился прямо в поле по первой попавшейся дороге.

Вечер был тих и прекрасен. С лугов веяло запахом скошенного сена, и дышалось легко. Солнце садилось, окрашивая небосклон нежными красками то огненного, то желтовато-бледного заката. Волконский, испытывая особенное наслаждение поразмяться после сиденья в неудобном экипаже, шел, объятый прелестью этого летнего вечера.

Через несколько времени он остановился, чтобы перевести дух. Сзади открылся ему вид на плоскую, окруженную зеленью Митаву, с ее длинными шпицами лютеранских церквей и силуэтом темного замка. Черепичные кровли домов, окруженные темно-зелеными кущами деревьев, румянились косыми лучами заката, отражавшегося с этой стороны в изгибах реки, прозрачной и светлой.

Вдалеке, у конца расстилавшейся от ног Никиты Федоровича прямой, суживавшейся к городу дороги скакали несколько лошадей.

Впереди других Никита Федорович разглядел амазонку, которая подгоняла хлыстом свою и без того скакавшую широким галопом большую серую лошадь. Остальные, видимо, едва могли следовать за нею. На амазонке было темно-зеленое широкое платье с бархатною красною накидкой, красиво развевавшееся на ходу лошади. Она быстро приближалась по дороге, подымая отягощенную вечернею сыростью пыль. Еще несколько секунд, и Никита Федорович узнал в ней Бестужеву.

Он узнал ее, хотя теперь она была совсем другою, чем там, у себя дома. Она сдержала уже свою лошадь и вполоборота разговаривала с нагнавшим ее русским драгунским офицером. Тот поднявшись на стременах и почтительно склонившись вперед, слушал ее,

как бы гордясь своею собеседницей.

Волконский никогда еще не видал такой девушки. Тут не красота, не стройность, не густые брови и быстрые большие глаза притягивали к ней; нет, она вся дышала какою-то особенною, чарующею прелестью. Она легко и свободно сидела в седле, видимо, уверенная не только в каждом своем движении, но и в том, что каждое это движение хорошо и красиво, потому что в ней все было хорошо. Никита Федорович смотрел на нее, забыв то смущение, которое испытывал при первом знакомстве, — забыв потому, что теперь пред ним была не Бестужева, не дочь важного сановника могучего Петра, но чистое, не здешнее, неземное существо, на которое мог радоваться всякий живущий. А она, не заметив даже Волконского, ударила лошадь и промчалась быстрее прежнего.

Он пошел обратно в город большими шагами. Он, конечно, не мог знать, какое у него было в это время блаженное, радостное лицо, с блестящими глазами и счастливого улыбку, но, радуясь, чувствовал во всей груди какой-то необъяснимый трепет и неудержимую удаль. Теперь все казалось уже прекрасным. Даже холодные, мрачные своды замка получили некоторую привлекательность, и Никита Федорович удивлялся лишь, как прежде он не замечал, что все в Митаве так хорошо и приятно.

Его отъезд был отложен на неопределенное время. Впрочем, это случилось как-то само собою. Он просто не приказывал своему старику слуге Лаврентию укладывать вещи, а тот не напоминал. Черемзину тоже не приходило в голову сделать своему гостю такое напоминание, и Волконский оставался в Митаве, забыв, что должен отправиться дальше по приказу грозного и не любившего послушания государя.

Волконский приехал в Митаву в смешном, грубом наряде, неповоротливый, застенчивый и, может быть, даже неуклюжий; но все это быстро, как лишняя кора, упало с него, благодаря влиянию обстановки, в котором очутился князь Никита и которая, видимо, вовсе не была чужда его природе, врожденным чутьем отгадавшей, что именно было нужно.

Привезенный из Петербурга парадный кафтан из серебряного глазета, расшитый руками крепостных золотошвеек по карте золотою канителью, битью и блестками, оказался не только скроенным не по моде, но и сидел настолько неуклюже, что его пришлось заменить новым, хотя и более простым, но зато более ловким и красивым. Затем явилась бездна мелочей, незаметно привившихся к внешней жизни Волконского. Черемзин, находя все это совершенно естественным, не замечал этой перемены в князе, так же, как и он сам.

Из русских книг, прочитанных прежде Волконским, он знал, что французы «зело храбры, но неверны и в обетах своих не крепки, а пьют много», «королевства англиканского немцы купеческие доктуроваты, а пьют много». Дальше этого сведения русских книг не распространялись. Черемзин рассказал князю Никите подробно и о французах, и о других народах, которых видел. О том, чего не видел Черемзин, князь Никита узнавал из его книг, из которых оказывалось, что свет вовсе не так необыкновенен, как описывалось в русских сочинениях, говоривших «о людях, кои живут в индейской земле, сами мохнаты, без обеих губ, а питаются от древа и корения пахучего, не едят, не пьют, только нюхают и, покамест у них те запахи есть, по то место и живут».

– Знаешь что, – сказал однажды Волконский Черемзину, отрываясь от немецкой книги, – все-таки мне прежнего жаль.

– Чего прежнего? – удивился Черемзин.

– Да вот того, что описывается в наших книгах... Там есть такие рассказы, например, о царстве девицьем...

– Вот вздор! – усмехнулся Черемзин.

– Может быть, конечно, вздор. Я вот из одной этой «Космографии», – Волконский кивнул на книгу, – понимаю, что все это – вздор; это-то мне и жаль... Неуже-

ли все на свете так же вот просто, как мы с тобою?

– Во-первых, мы с тобою вовсе не так просты, – ответил Черемзин, хотя и не много читавший, но тем не менее способный поддерживать всякий разговор, – кто тебе это сказал? А во-вторых, есть на свете довольно чудесного и без девичьего царства.

Волконский задумался.

– Вот, – начал Черемзин, – послезавтра у Бестужева будет немец...

– Какой немец? – спросил Волконский, чувствуя, что при имени Бестужевых краска бросается ему в лицо.

– Кудесник-немец, до некоторой степени особенный, судя по рассказам. Я один раз во Франции встретил подобного человека. Они попадаются. Если тебя интересует – пойдем вместе. Немец здесь проездом. Да, отчего ты не бываешь у Бестужевых? Там раз как-то даже спрашивали о тебе, – добавил Черемзин.

– Кто спрашивал? – не вытерпел Волконский, тут же досадуя на себя за это, потому что еще минута – и его волнение могло быть заметно Черемзину. Но тот совершенно равнодушно ответил:

– Право, не помню, кто именно, знаю, что говорили...

На этом разговор прекратился, но Волконский так и заволновался весь. Он жил все это время, полный

своими мечтами, в каком-то восторженном состоянии. Однако, когда Черемзин такими простыми словами и таким равнодушным голосом сказал, что он, Волконский, может пойти к Бестужевым, Никита Федорович почувствовал вдруг безотчетную боязнь за свое чувство, как будто оттого, что он пойдет туда, может случиться или что-нибудь ужасное, или... Никита Федорович не знал, что следовало за этим «или». Он знал только, что сердце его бьется, и кровь приливает к вискам.

Несмотря на это, теперь, после разговора с Черемзиным, он страстно, со все увеличивающимся желанием, начал ждать назначенного у Бестужевых вечера.

II. Кудесник

Гости съезжались, когда Волконский с Черемзиным подъехали к дому Бестужева. Никита Федорович по крайней мере уже раз сто представлял себе, как он войдет, как увидит дочь Бестужева и как вообще все это будет. Аграфена Петровна встретила его совершенно просто, равнодушно ответив на его глубокий, почтительный поклон кивком головы, таким же, каким ответила Черемзину и всем другим. Но от этого, разумеется, она не сделалась хуже; напротив, она была еще лучше, чем воображал Никита Федорович. И этот ее небрежный поклон был все-таки поклоном, обращенным к нему, и потому получал особенную прелесть.

Поздоровавшись с хозяевами, Волконский стал оглядывать гостиную. Лучше всех была, разумеется, молодая хозяйка. Все молодые люди, пышно разодетые, были вокруг нее, оставляя в стороне прочих дам, скучно и вяло сидевших в золоченых креслах.

Даже старики оберраты, толстые и солидные, которые держали себя очень важно и к которым то и дело подходил с любезною улыбкой сам Бестужев, казалось, радовались, глядя на его дочь, освещавшую все собою. Одна только молодая дама в темном, не

совсем ловко сшитом платье сидела отдельно на диване, сдвинув брови над довольно широко поставленными глазами и сложив губы в принужденную улыбку, лениво обмахивалась веером, как бы не желая ни на что обращать внимания. Эти широко поставленные глаза, улыбка, а главное – ровный большой прямой нос и два спускавшиеся прямо на лоб дамы завитка неприятно поразили Волконского, когда он взглянул на нее. Он заметил, что все, почтительно поклонившись, как-то обходили ее, и только хозяин старался изредка занять ее разговором, но она улыбалась ему широкою улыбкою и отвечала, видимо, односложными словами, слегка позевывая за веером.

Среди бархатных и шелковых расшитых кафтанов особенно отличался своим черным с ног до головы одеянием приезжий немец, для которого съехались сегодня к Бестужеву и который сидел теперь у окна с самым солидным и толстым оберратом. Сначала все разговаривали, будто не обращая внимания на немца, но затем мало-помалу гостиная как-то сама собою приняла то расположение, которое было необходимо. Черный немец очутился в середине большой дуги, образованной рядом кресел, на которых поместились старики; молодежь, окружавшая хозяйку, сгруппировалась по-прежнему, возле нее, и все незаметно придвинулись; только дама в темном платье

осталась по-прежнему в отдалении на своем диване. Разговор становился все более и более отрывочным, смех делался сдержанным, все точно ждали и прислушивались, думая, что вот-вот сейчас начнется самое интересное. Но немец, спокойно продолжая разговаривать с оберратом, ничего «не начинал» и ничего необыкновенного не показывал, «может быть, все это – вздор», – мелькнуло у некоторых из гостей.

Аграфея Петровна поняла, что нужно вызвать немца на разговор, которого все ждали.

– Господин доктор, – обратилась она к нему по-немецки с откровенною решительностью, свойственною только хорошеньким женщинам, уверенным в том, что им будет позволено и всякое желание их исполнено.

Черный доктор склонился, почтительно слушая.

Бестужева прямо поставила вопрос ребром:

– Мне говорили, что вы – особенный человек и обладаете такими удивительными знаниями, что вам доступны вещи сверхъестественные...

Немец, прищурив глаза, ответил:

– Могу вас уверить, что на земле нет ничего сверхъестественного... Все очень просто и обыкновенно, если знать, и только для незнания таинственно.

– Ну, это нам все равно, – задорно сказала Бестужева, – мы ждем от вас чего-нибудь такого... удиви-

тельного...

И она улыбнулась немцу, смягчая эту улыбку резкостью своей намереннее откровенности.

– Извольте, – согласился доктор, улыбаясь в свою очередь. – Ровно сто лет тому назад...

Все притихли, довольные, что «началось»; одна лишь Бестужева не могла успокоиться.

– Что же это будет, доктор? История? – спросила она.

– Ровно сто лет тому назад, – продолжал он, не слушая, – в этот самый час был окружен врагами один монастырь, где заперся с небольшим отрядом ратников военачальник, твердо решивший не сдаваться. Напрасно враги шли на приступ, напрасно лезли на высокие стены и ломались в ворота – все усилия их были напрасны. Наконец, нашлась двое изменников, которые тайно впустили врагов внутрь монастыря; они вошли ночью и бросились на его защитников. Военачальник с горстью ратников кинулся в церковь и там был убит, защищаясь до последней возможности, кровь его, пролитая на церковный пол, так и осталась на камне: когда ее смывали, она выступала вновь...

– Это был, вероятно, немецкий монастырь? – самоуверенно спросил оберрат. – Я помню нечто даже подобное в истории моего рода...

Все находившиеся в гостях у Бестужева немцы, ко-

торых было тут гораздо больше, чем русских, невольно постарались припомнить, не случилось ли такой истории и в их роде, которым каждый из них гордился, зная чуть ли не наизусть всю свою родословную.

– Нет, – продолжал доктор, – монастырь был русский... Вам знаком этот случай, князь? – вдруг обратился он к Волконскому.

Никита Федорович почувствовал, что все взгляды обращаются на него, что все – и с ними она тоже – смотрят на него. Рассказ про своего родного прадеда, погибшего при осаде Боровского монастыря, он часто слышал в своей семье еще в детстве, но не мог понять, откуда этот приезжий, случайно встретившийся с ним немец знает и этот рассказ и, наконец, самого его. Бестужева действительно вместе с другими глядела теперь на князя Никиту. Худой, высокий и стройный, он стоял, опустив голову. До этой минуты он был для нее одним из молодых людей, составлявших толпу, на которую она всегда смотрела равнодушно, не обращая ни на кого особенного внимания, привыкнув к общему подчинению себе. Она знала, что несколько времени тому назад приехал в Митаву какой-то князь Волконский, что он был раз как-то у них, но какой он именно, не помнила. Теперь она смотрела на его довольно редкие, но приятные черты, на его высокий, бледный лоб и глубокие глаза, и странно – что-то осо-

бенное показалось ей в том человеке, точно он не похож на остальных, точно его лицо светится как-то особенно для нее и в его глазах она может читать всю его душу.

– Все это очень хорошо, – обратилась она к доктору, – но я не понимаю, зачем вы рассказали эту историю про... князя... – добавила она, не найдя другого выражения и показывая веером в сторону Волконского.

– Почему я рассказал именно эту историю? – ответил доктор. – Не знаю, но расскажи я всякую другую – вы смогли бы сделать мне тот же вопрос. Но почему я вообще рассказал вам что-либо, так это вследствие вашей просьбы...

– Да что же тут удивительного? – воскликнула Бестужева с некоторой обидой, выражавшейся у нее обыкновенно в легком дрожании подбородка.

– Как? Разве не удивительно в самом деле то, что я вот, сидя здесь, в покойном кресле, знаю, что случилось сто лет тому назад, когда ни меня, ни вас не было и никто не думал о нас?

– Да, но вы могли прочесть этот рассказ где-нибудь или услышать, то есть сделать то, что доступно каждому из нас, – возразил один из оберратов, считавшийся самым умным в совете.

– Совершенно верно, – согласился доктор, – и вас

это не удивляет лишь потому, что вы сами можете сделать это...

– Ну, конечно, – нетерпеливо перебила Бестужева, – я понимаю, если бы вы рассказали нам будущее...

– Тогда бы это вас удивило?

– Разумеется, это было бы интересней.

– А мне кажется, что это решительно все равно; почему, собственно, труднее знать будущее, чем прошедшее?

– Ах, Господи, как почему? да прошедшее, в особенности такое, как вы рассказали, каждый ребенок, умеющий читать, может знать.

– А, вот вы сказали: «умеющий читать»! Видите, нужно и для знания прошедшего поучиться чему-нибудь, – значит, это вовсе не так просто, как вы думаете, – возразил доктор. – Этак ведь можно точно так же научиться читать и о том, что будет, и тогда для человека знающего, согласитесь, пропадет всякая разница в отношении знания для прошлого и будущего...

– Ну, а вы будущее можете нам сказать? – настаивала Бестужева.

Доктор, улыбаясь, поднял плечи.

– Что вам угодно знать? – проговорил он.

– Позвольте! Ну, вот здесь нас, – Бестужева оглянулась, – человек тридцать, я думаю... Чья судьба вас

интересует больше других?

Аграфене Петровне главным образом, как и каждому из присутствовавших, хотелось узнать свою собственную судьбу; но она нарочно, не желая говорить о себе, поставила вопрос так, будучи уверена, что, разумеется, самую интересною будет найдена именно ее судьба. Дочь первого лица не только в городе, но и во всей Курляндии, она уже давно привыкла к лести, которую тешили ее самолюбие все окружающие, отчасти вследствие высокого положения ее отца, а отчасти и вследствие собственного ее ума, молодости и красоты.

– Наиболее интересная судьба ожидает князя, – заговорил доктор и опять обернулся в сторону Волконского, и все снова стали смотреть на него. – Вам в жизни предстоит много борьбы духовной – и победа останется за вами. Не отчаивайтесь! Будьте бодры! В положении самом жалостливом вы будете все-таки всегда выше людей, вас окружающих. Может быть, мы встретимся еще когда-нибудь, – заключил доктор серьезным, мерным голосом, каждый звук которого отдавался в сердце Никиты Федоровича.

«Так вот он какой – этот Волконский! – думала Аграфена Петровна, взглядывая на князя Никиту. – Вот что!..»

И она не могла не ощутить в себе все-таки гордели-

вого сознания, что вот человека, которого она видит теперь у себя совсем молодым, и который, вероятно, вместе с другими робеет пред нею, ждет впереди совершенно особенная, таинственная будущность, отличная от будущего других.

Доктор, собственно, ничем не мог сию минуту подтвердить сделанное предсказание. Известно было только, что он никогда не видал Волконского, и никто не мог говорить ему о нем, потому что, кроме Черемзина, почти никто не знал в Митаве князя, вовсе не принадлежавшего к жизни города. Это было странно. Но не это заставило всех поверить словам немца. Особенное доверие возбуждал его мерный, серьезный голос, который, казалось, никогда не говорил неправды.

— Ну, и из женского находящегося здесь общества, — снова спросила Бестужева, желая все-таки добиться своего, — кому вы предскажете будущность?

Доктор поднялся со своего места, налил из стоявшего на столе у стены графина воды в стакан и достал из кармана складную серебряную ложку.

Все в комнате с напряженным вниманием следили за малейшим его движением. Он вынул из канделябра восковую свечу и, отломив от нее кусок и распутив его в своей ложке, быстро вылил растопленный воск в стакан.

Бестужева не сомневалась, что гадание делается для нее и, внимательно вытянув шею, старалась рассмотреть, какую фигуру принимает застывший в прозрачной воде воск. Доктор поднял стакан на свет и разглядывал его.

«Неужели?» – мелькнуло у Бестужевой.

В стакане ясно очерчивалась фигура короны.

Немец вынул воск, расплескав воду, и действительно тот имел форму подушки с кистями по углам, на которой лежала ажурная тонкая императорская корона со скипетром и державою.

Бестужева, краснея от удовольствия, опустила глаза, чувствуя, что взгляды всех присутствующих обращаются к ней, и все лица улыбаются ей, склоняясь, и что черный доктор сейчас подойдет к ней. Но он, как бы сам пораженный, быстро выпрямился, твердыми большими шагами прошел через комнату и, опустившись на одно колено, подал фигуру короны сидевший в отдаления даме в темном платье.

Это была герцогиня Курляндская, Анна Иоанновна – будущая императрица Всероссийская.

III. Герцогиня Курляндская

Анна Иоанновна скучала в своей Курляндии, как только может скучать полная сил двадцатилетняя женщина, овдовевшая через два с половиною месяца после свадьбы, с детства привыкшая к огромному дому, полному всякой прислуги, приживалок и гостей и заключенная, как в темницу, в пустынный, средневековый замок с толстыми сводчатыми стенами, под которыми невольно стихала всякая попадавшая туда жизнь. Положение герцогини не только не спасло ее, но, напротив, служило главной причиной ее одиночества и заключения. Дочь покойного Иоанна Алексеевича, родного брата и соправителя по престолу царя Петра, она не помнила своего отца, умершего, когда ей было всего три года. Она выросла в родном селе Измайлове на попечении матери, царицы Прасковьи, вместе с двумя своими сестрами, из которых она была среднею.

В пятнадцать лет царевна Анна Иоанновна, благодаря своим не по возрасту формам и окрепшим мускулам, не казалась уже подростком.

В это время император Петр потребовал всех членов своей семьи в Петербург, и царица Прасковья, всегда послушная желаниям своего деверя, поспеши-

ла переехать туда с дочерьми. Царь Петр, помня кроткий нрав и подчинение своего покойного брата и видя послушание царицы Прасковьи, ласкал ее дочерей и заботился о них. Анна Иоанновна стала веселиться в Петербурге, где потянулась длинная вереница выездов, катаний, обедов, фейерверков, на которых она присутствовала вместе со всей царской семьей, окруженная почетом и вниманием. Так прошло два беззаботных года, когда, наконец, раздалось над нею страшное слово «замуж».

Сам царь Петр выбрал племяннице жениха. Еще в октябре 1709 года он сговорился при свидании в Мариенвердере со своим политическим союзником, королем прусским, обвенчать русскую царевну с племянником короля, Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курляндским. Этот брак нужен был Петру, чтобы, с одной стороны, вступить в свойство с прусским королевским домом, а с другой – приобрести влияние на Курляндские дела, и он назначил невестою немецкому принцу родную племянницу свою, Анну Иоанновну.

Жених не замедлил явиться в Петербург, после того, как вопрос о приданом был тщательно обсужден и решен его послами с русским правительством.

Свадьба справлялась целым рядом празднеств и затей. На одном из пиршеств, например, подали два огромных пирога, из которых выскочили две разря-

женные карлицы и протанцевали менуэт на свадебном столе. В то же время была сыграна потешная свадьба карликов, для чего их собрали со всей России до полутораста.

Пиры и празднества закончились небывалою попойкою, после которой молодого замертво уложили в возок и отправили вместе с женою домой в Курляндию. Но герцог мог доехать только до мызы Дудергоф и здесь, в сорока верстах от Петербурга, скоропостижно скончался.

Смерть мужа оставила Анну Иоанновну вдовою без воспоминаний о супружеском счастье и герцогинею без связанных с этим титулом значения и власти. По политическим расчетам Петра она все-таки должна была отправиться в Курляндию. Герцогский жезл получил там, после кончины Фридриха Вильгельма, последний потомок Кетлеров, герцогов Курляндских, семидесятилетний Фердинанд, нерешительный и трусливый, не любимый народом, не способный к управлению и постыдно бежавший с поля сражения во время Полтавской битвы, где должен был находиться в рядах шведских союзников. Он не хотел явиться в Митаву, жил, ничего не делая, в Данциге и предоставил свое герцогство управлению совета оберратов. На самом же деле Курляндию управлял резидент русского государя Петр Михайлович Бестужев, присланный

в Митаву в качестве гофмаршала вдовствующей герцогини Курляндской.

Анна Иоанновна не могла не чувствовать, что она в Митаве – второстепенное лицо, и что все знаки внешнего почета и уважения, которые оказывались ей, служат лишь для того, чтобы исключить ее из митавского общества, веселившегося по-своему и недружелюбно относившегося к ней. Немцы-курляндцы, видимо, не любили бывшей русской царевны, иноземки, почти насильно посаженной им в герцогини; русские же составляли свой кружок, в котором на первом месте была молодая, веселая и хорошенькая дочь Бестужева, пользовавшегося обаянием действительной власти и силы. Таким образом, положение герцогини только уединяло Анну Иоанновну, связывало правилами этикета и лишало возможности жить так, как хотелось ей, то есть пользоваться наравне с другими жизнью в свое удовольствие. Она пробовала собирать у себя гостей. Они являлись аккуратно в назначенный час, но держали себя чопорно и натянуто, почти не скрывая своей скуки, уничтожить которую Анна Иоанновна положительно не умела. Кроме самого давящего тоскливого воспоминания – ничего не оставалось ни у гостей, ни у хозяйки от этих сборищ. К себе на празднества Анны Иоанновны никто не приглашал, под тем предлогом, что она – «герцогиня» и ждать от нее чести

посещения не смеют; правда, все отлично знал, что она с восторгом явилась бы на какое угодно приглашение, но знали также, что, явившись, она принесет вместе с собою скуку и натянутость. Оставался один дом Бестужева, куда Анна Иоанновна и ездила, но и тут всегда на первом месте была Аграфена Петровна.

Ко всему этому у Анны Иоанновны, обязанной содержать особый ливрейный штат, повара, лошадей, которых она очень любила и которых у нее было очень много, и, наконец, поддерживать старый замок, – просто не хватало денег на то, чтобы «себя платьем, бельем, кружевами и по возможности алмазами не только по своей чести, но и против прежних вдовствующих герцогинь курляндских достаточно содержать», как писала она дяде Петру, горько жалуясь на свою судьбу.

Но Петр Великий оставался непреклонен к слабостям женского сердца и не находил нужным потакать им своею щедростью. Даже известие о том, что «партикулярные шляхетские жены в Митаве ювелы и прочие уборы имеют неубогие, из чего герцогине, при ее недостатках, не бесподозрительно есть», не тронуло его.

На другой день после вечера у Бестужева, где Анна Иоанновна была в простом, надетом уже платье и где белый шелковый наряд Аграфены Петров-

ны блистал и свежестью, и богатством, она стояла у окна своего замка, грустно облокотившись на растворенную цветную раму. Из этого узенького окна виднелась аллея сада, и несло ароматное тепло летнего утра, нежно и приятно вливавшегося в грудь под сырыми сводами неприветливых каменных стен.

Проснувшаяся зелень, как бы расправляя свои умытые росой листья, тихо шевелилась на теплом утреннем ветерке, трава нежилась и радовалась только что поднявшемуся солнцу, и птицы переговаривались неумолкавшим, веселым чиликаньем.

«Да, все живет, все радуется, – думала Анна Иоанновна, – а я тут одна, словно заживо погребенная».

И ей невольно вспомнились подвальные склепы замка, где в величавых каменных гробницах лежали похороненные потомки Кетлеров и куда она как-то ходила от нечего делать посмотреть из любопытства, после чего не могла спать спокойно несколько ночей.

Чтобы отогнать эту грустную мысль, она стала думать о своем детстве, об Измайлове, где было так хорошо и весело, где были тоже каменные хоромы, но приветные, уютные, с церквями и золотыми куполами, полные с утра до ночи народом, Матушка, царица Прасковья, любила «Божьих людей», юродивых и странников, которые всегда находили приют в ее доме и умели рассказывать такие чудесные, волшебные

и занимательные истории. Один из юродивых, подьячий Тимофей Архипович, замысловатыми выражениями и намеками предрекал царевне Анне то, что было ясно из действий вчерашнего кудесника. Это уже не было ей внове. Еще в детстве она с матерью ездила в Суздаль, и там митрополит Илларион тоже предсказывал ей скипетр и корону. Анна Иоанновна то верила в счастье своей судьбы и безотчетно надеялась на что-то, то вдруг чувствовала сильную боязнь к грозному дяде и спешила уверить себя, что она уже получила то, чего ей предсказано, что у нее есть уже герцогская корона и что она должна жить в Митаве и скучать, заживо погребенная. Эта мысль казалась ей всегда особенно жалостливою, и она не могла сдержать навертывавшиеся на ее глаза слезы.

В это время в саду хрустнул песок дорожки, и Анна Иоанновна отстранилась от окна.

По саду шел, опустив голову, с маленькой книжкой в руках, Никита Федорович, и в нем герцогиня сейчас же узнала того князя, которому вчера вместе с нею кудесник предсказал странную судьбу. Он, очевидно, был так далек от всего окружающего, что, сам того не замечая, зашел в ту часть сада, где никто из живущих в замке обыкновенно не гулял.

Но Анна Иоанновна рада была видеть живого человека. Волконский еще вчера вечером, когда сто-

ял, смущенный общим вниманием, понравился ей, и ей захотелось теперь просто поговорить с ним так, как вот он есть, случайно застигнутый посреди своих мыслей.

– Читаете? – спросила она, опираясь на подоконник.

Волконский вздрогнул, огляделся кругом и, увидев в окне Анну Иоанновну, быстро закрыл книгу, а затем с глубоким поклоном ответил:

– Герцогиня!

Он весь как-то в одну минуту подтянулся и из настоящего, живого человека, каким видела его за минуту пред, тем Анна Иоанновна, сделался вдруг безжизненно деревянным, похожем на всех, кто обыкновенно разговаривал; с нею в этой ненавистной Митаве.

– Господи! Да чего тут герцогиня! – заговорила она. – Разве я не такой же человек, как и все, разве со мною уж и поговорить просто нельзя?

Волконский стоял, почтительно склонясь, и слушал.

– Ну, чего вам-то тут? – продолжала Анна Иоанновна, – вы – человек приезжий, кажется, можете и не стесняться.

– Простите, ваша светлость, я попал сюда совершенно случайно, – ответил Волконский, думая, что Анна Иоанновна намекает на его бесцеремонность, с

которую он подошел под самые окна герцогини.

– Не про то я, – перебила она, – напротив, что ж, что подошли?... Утро-то какое чудесное, а? – вдруг спросила Анна Иоанновна, видимо, желая завязать разговор.

Никита Федорович постарался выразить всем лицом и новым поклоном, что вполне разделяет это мнение.

«Ну, вот и этот, как все прочие!» – мелькнуло у Анны Иоанновны, и ей снова сделалось грустно и скучно.

Она замолчала, задумавшись и смотря куда-то вдаль поверх головы Никиты Федоровича, а он воспользовался этой минутой, чтобы откланяться и уйти от их неловкого разговора, который почему-то был ему неприятен.

Анна Иоанновна поднялась от окна.

– С кем это разговаривать изволили, ваша светлость? – послышался над самым ее ухом строгий голос Бестужева, входившего обыкновенно без доклада.

Анна Иоанновна наморщила лоб, и лицо ее приняло страдальческое выражение.

– С кем говорить-то мне? – вдруг возвышая голос, воскликнула она. – Сижу здесь взаперти, и в окошко нельзя мне теперь выглянуть.

– Нет, я только думал... – начал было Бестужев,

поднимаясь на цыпочки и стараясь заглянуть в окно.

– Я вот что скажу тебе, Петр Михайлович, – резко перебила его Анна Иоанновна, – я больше не могу так!.. Это с ума сойти можно. Просто возьму, да и убегу в Москву. Что же это в самом деле? День-деньской одна сидишь, делать нечего, никого не видишь, такая тоска возьмет...

– Что же делать, ваша светлость: положение герцогини заставляет иногда... – попытался возразить Бестужев.

– Эта «герцогиня»! – крикнула Анна Иоанновна, гневно сверкнув глазами. – Вот уж она мне где! – и она показала себе на горло.

Бестужев видел, что Анна Иоанновна рассержена не на шутку. В такие минуты она никогда не помнила себя и, выйдя из терпения, могла наделать каких-нибудь хлопот, вздумав, пожалуй, в самом деле уехать, не спросясь государя, в Москву. Нужно было чем-нибудь успокоить ее.

– А я шел к вам вовсе не для того, чтобы рассердить вашу Светлость, – помолчав, мягко заговорил он. – Напротив, я думал предложить вам устроить охоту, если будет угодно.

Анна Иоанновна так и расцвела вся. Охота, была любимым ее удовольствием.

– Что ж, я рада, – сказала она, уже жалея о сво-

ей вспышке, казавшейся ей теперь даже беспричинною. – Только какая же теперь может быть охота?... Охоте не время теперь, – добавила она снова изменившимся голосом.

– Охота самая необыкновенная. Видите ли, все должны быть верхами, а один из участников выбирается зверем, и должен скрыться от остальных. Его ищут, гонятся за ним, и тот, кто поймает, – получает приз, – стал рассказывать Бестужев, вспоминая тут же пришедшую ему в голову новую затею своей дочери, которую та хотела привести на днях в исполнение.

– Ловко придумано! – обрадовалась Анна Иоанновна. – Когда же это будет? Нужно поскорее, Петр Михайлович.

– Когда ваша светлость прикажет, – ответил Бестужев, – я велю приготовить лошадей.

– Нет, насчет лошадей я уж сама распорядюсь... Да, вот что: вели пригласить на эту охоту тоже Волконского, что был вчера у тебя.

Бестужев внимательно посмотрел на нее.

– Ведь чем больше народа, тем лучше, – пояснила Анна Иоанновна, кивком головы показывая гофмаршалу, что он может удалиться.

Волконский все это утро думал о вчерашнем вечере, о Бестужевой и о том, как она смотрела на него, когда кудесник делал свое предсказание. Он никак не

мог ожидать, что именно к нему будет относиться самое важное предсказание и что именно его судьба станет самой интересной, и это предсказание заняло его.

От Черемзина он узнал, что кудесник остановился у пастора лютеранской церкви. Он скоро нашел маленький домик, мимо которого всегда приходилось ходить из замка в город, и который стоял недалеко от церкви, на берегу реки, почти у самого моста, одним боком выдавшись из высокой каменной стены, закрытой каким-то густым ползучим растением. К пастору можно было попасть, только войдя с другого конца улицы в церковную ограду и миновав церковный сад. Церковь была окружена темными ветвистыми старыми деревьями, среди которых шла довольно широкая аллея, и в конце ее виднелась стена пасторского сада с небольшою железною дверцей. Ветви были очень густы, и солнечные лучи лишь изредка пробивались сквозь них, прорезывая сырой полумрак тени и кладя кое-где светлые пятна на влажную, темную дорожку аллеи.

Когда Никита Федорович входил с одного конца, на другом отворилась маленькая дверца, и в ее четырехугольнике, вдруг осветившемся солнцем, заливавшим своими лучами садик пастора, как в рамке, показались две женские фигуры с кланявшимся пас-

тором; который, прощаясь, провожал их, Волконский не столько глазами, сколько всем существом своим узнал Аграфену Петровну. Она смело шла к нему навстречу, сделав несколько шагов вперед, узнала в свою очередь князя Никиту.

Она, видимо, смутилась – и тем, что он застал ее здесь, и тем, что они встретились случайно, и тем, наконец, что он может заметить ее смущение. Как ни странно было для нее это чувство, которое она, всегда уверенная в себе, редко испытывала, но ей не было неприятно, что этот мало знакомый ей человек видит ее смущенною.

С первого же взгляда на Никиту Федоровича, с восторгом смотревшего на нее, она поняла, что он любит ее так, как она есть, любит даже самым смущением, которое для него так же прекрасно в ней, как и все остальное. И она не только простила его за то, что смутилась пред ним, но и почувствовала, что он в эту минуту не так ей чужд, как все остальные, точно все это было уже раз пред нею: и эта темная аллея с высокими деревьями, и эти пробившиеся сквозь листву лучи и главное этот сырой запах вековых древесных стволов, смешанный с благоуханием жасмина.

– Вы к нему? – спросила Бестужева, первая овладев собою и кивком головы показывая на калитку.

– Да, к немцу, – чуть слышно проговорил Никита Фе-

дорович, уже испытывая в себе ту легкость и волнение, которые всегда охватывали его, точно выросшие и готовые распусться крылья, когда он смотрел на эту девушку или думал о ней.

– Уехал, сегодня утром уехал, – с улыбкой ответила Бестужева и прошла мимо.

Больше они ничего словами не сказали друг другу, но Никита Федорович чувствовал, что после этой встречи они стали точно более близки, и что эта случайность не пройдет бесследно.

Пастор подтвердил ему, что доктор действительно сегодня рано утром уехал из Митавы к не пожелал сообщить, куда именно; но Волконский уже не жалел, что не мог говорить с черным доктором.

IV. Охота

Анна Иоанновна сама распоряжалась приготовлением к потешной охоте, которая была назначена в ее загородном доме близ Митавы, в Вирцау. Затея очень понравилась ей, и каждый день она заставляла делать выводку лошадей у себя на конюшне, выбирая и распределяя их для участников потехи. За день до охоты она уехала в Вирцау и ночевала там. Гости должны были съехаться к десяти часам утра. Верховые лошади герцогини были приведены туда заранее.

Черемзин с Волконским явились в экипаже в Вирцау раньше других; но почти сейчас вслед за ними приехали несколько немецких баронов, которые, вежливо раскланявшись, пошли в конюшню осматривать лошадей. Затем прискакали верхом драгунские офицеры; потом, в тяжелой позолоченной колымаге с гайдуком на запятках, приехал Бестужев.

Никита Федорович думал, что с гофмаршалом придет и его дочь и радовался своим ожиданиям; но теперь у него невольно явилось сомнение, придет ли она вообще, и все ему перестало здесь нравиться. Подойти и спросить у Бестужева о его дочери, он, разумеется, не решался.

Все эти дни погода стояла чудесная, и сегодня тоже

небо было безоблачно и ясно. Молодые люди, блестя на солнце своими расшитыми кафтанами и галунами на шляпах, ходили в ожидании герцогини по небольшой площадке пред домом. Анна Иоанновна долго не выходила. Бестужев несколько раз вглядывался в даль дороги, держа руку над глазами от солнца, и затем беспокойно прохаживался по крыльцу.

– Кого же мы ждем? – спросил князь Никита Федорович у Черемзина.

– Как кого?... Герцогиню? – ответил тот, недовольно пожимая плечами.

Анна Иоанновна вышла на крыльцо сияющая и довольная, в длинном ярком платье, шлейф которого нес маленький паж. Ей подвели стройную, красивую лошадь под чепраком, с гербами курляндских герцогов.

Бестужев тоже сел верхом.

«И очень нужно по такой жаре без толку слоняться! – рассуждал Волконский, забирая за загривок лошади и поднимая ногу в стремя. – И чего, право, не выдумают!.. А вот возьму, да и уеду!..» – решил он, попав в стремя, и быстро вскочил на нетерпеливую, не стоявшую спокойно на месте лошадь.

Толпа охотников, с Анною Иоанновной впереди, шагом выехала на дорогу. Изо всех лиц улыбающимся было только одно – лицо самой герцогини. Все

остальные сидели насупившись и морщились от лучей прямо бившего им в глаза солнца.

Так молча проехали некоторое время. Нужно было, наконец, что-нибудь предпринять – свернуть с дороги, что ли, а то, продолжая так, можно было доехать до самой Митавы. Анна Иоанновна почувствовала это. Но, видимо, никто не хотел помочь ей; все были готовы исполнять только ее приказания, а что и как приказать – она положительно не умела.

«Вот эта Бестужева наверное знала бы, что теперь делать, – не без зависти подумала герцогиня. – И что они находят в ней, право? Худа – и больше ничего», – рассуждала она про безмолвно едущих за нею теперь молодых людей.

Действительно, они и сами не могли понять, почему, когда пред той же толпой их, как сегодня, бывала в другие дни Бестужева, – все было иначе, являлись откуда-то и веселье, и смех. Бестужева при этом ничего, казалось, не делала, чтобы вызвать такое настроение. Анна же Иоанновна, напротив, всеми силами старалась – и ничего из этого не выходило.

– Ну, что ж, пожалуй, свернуть можно? – спросила Анна Иоанновна, оборачиваясь к Бестужеву.

– Уж это как угодно вашей светлости, – ответил тот.

– Да мне угодно только, чтобы весело было; вы скажите как, нужно теперь свернуть, что ли?

– А вот, кажется, дочь моя едет – она покажет, – сказал Бестужев, смотря на дорогу, где уже белело облако пыли, в которое давно жадными глазами впился Никита Федорович.

При имени Бестужевой Анна Иоанновна вдруг решительно повернула лошадь и, как будто сама зная, что ей делать, крупною рысью поехала прямо в поле. Там, на дороге, где ехала Бестужева, также окруженная охотниками, заметили это движение. Но Аграфена Петровна вместо того, чтобы погнать свою лошадь шибче, напротив, придержала ее и поехала шагом, свернув, однако, тоже в поле.

Анна Иоанновна, отскакав от дороги на довольно большое пространство, остановилась. Она видела, что Бестужева, нарочно не спеша, шагом приближается к ним, и ей хотелось во что бы то ни стало начать «охоту» раньше того, как она подъедет.

– Ну, господа, как же, кто же будет зверем, а? – спросила она, любезно улыбаясь и нетерпеливо поворачиваясь на седле. – Да, ну же, скорее начинайте!.. – чуть не умоляя, добавила она.

Но никто не выказывал особенной торопливости. Видимо было, что никто не двинется, пока не подъедет Аграфена Петровна, которая, точно нарочно, дразня и рисуясь, подвигалась особенно медленно, придержав еще свою лошадь и бережно объезжая

каждую кочку.

«Милушка!» – чуть не вырвалось у Никиты Федоровича навстречу ей.

Наконец ее большая серая лошадь мерным, красивым шагом, особенно ловко округляя передние ноги, подошла почти вплотную к лошади герцогини.

С появлением Бестужевой все лица оживились.

– Добрый день, ваша светлость! – обратилась она по-немецки к Анне Иоанновне с тою улыбкой, чарующее впечатление которой она знала.

И, действительно, эта улыбка способна была примирить с нею всякого.

Анна Иоанновна не могла не чувствовать, что теперь будет непременно весело, потому что у этой безжизненной прежде толпы вдруг явилась душа, и толпа проснулась. Общее оживление невольно передалось Анне Иоанновне, и в ней незаметно растаяло всякое неудовольствие против Бестужевой.

– Аграфена Петровна, – обратилась она к ней, – ну, как же начинать?

Бестужева обвела глазами охотников. Среди них особенно выделялся своим самодовольным бело-розовым лицом откормленный, гладенький немчик, сын старшего оберрата, взгромоздившийся на огромную лошадь, вовсе не соответствовавшую его маленькому, пухлому тельцу.

– Ну, барон, выезжайте! – предложила ему Аграфена Петровна.

Барон храбро дал шпоры своему коню и выдвинулся, стараясь пробраться между нетерпеливо топтавшимися на месте лошадьми.

– Да не так... Туда, в поле! – пояснила Бестужева, протягивая руку вперед и указывая в пространство. – Мы будем считать до ста, в это время вы можете уехать куда угодно, а затем мы поскачем за вами. Ну, Черемзин, считайте! – приказала она.

Барон еще раз дал шпоры, его огромный конь, видимо, не желая отделяться от других лошадей, перебрал ногами и стал пятиться.

– Раз, два... – начал Черемзин.

– Пойдите, погодите, еще не время, я еще не начал, – забеспокоился барон, едва охватывая своими коротенькими ногами крутые бока лошади, которая трясла головою и продолжала пятиться.

– Одиннадцать, двенадцать, – неумолимо продолжал Черемзин.

Барон отчаянно замахал рукою и что было силы ударил коня хлыстом. Тот вдруг рванулся вперед и поскакал по полю сломя голову.

Кругом все засмеялись. Барон несся, растопыря ноги и откинувшись назад, точно повис на поводьях... Его шляпа с огромным пером свалилась назад и тре-

палась на ремешке, сползшем со щек барона. Проскакав таким образом, лошадь круго остановилась, и барон перекинулся на ее шею, которую невольно охватил руками, чтобы не полететь через голову лошади.

Черемзин в это время дошел уже до шестидесяти.

Фигура барона была очень смешна, в особенности с той стороны, с которой глядели на него остальные. Огромный конь, почувствовав, должно быть, нетвердость своего седока, поддал задними ногами, и барон еще крепче припал к его шее, не обращая уже внимания на то впечатление, которое он производит.

– Девяносто восемь, девяносто девять, – считал Черемзин, – сто! – наконец крикнул он.

Несколько лошадей кинулись по направлению несчастного барона, бившегося на своей лошади посреди поля. Бестужева сделала только вид, что кинулась вместе с другими, но на самом деле осталась сзади. Она заметила, что несколько молодых людей, между которыми был Волконский, сделали то же самое.

Анна Иоанновна первая настигла барона и получила первый приз.

Лошади только разгорячились этою короткой скачкой. Никто, разумеется, не имел еще времени устать, напротив, каждому казалось, что он может хоть целый день провести, не слезая с лошади. У барона пошла

кровь из носа, который он, очевидно, разбил, когда наткнулся на шею своего коня, но и барон старался оправиться и всеми силами желал показать, что это ему ничего.

После барона в качестве зверя выехал Черемзин. Он не торопясь отделился от охотников, спокойно выждал момента, когда они поскакали, и, подпустив их довольно близко к себе, внезапно отскочил в сторону, а затем, сделав большой круг по полю, поддался герцогине. Все это было исполнено красиво и весело.

Бестужева все время ездил, сберегая силы своей лошади. Она отлично видела, что Черемзин поддался герцогине и прежде других остановилась на небольшом холмике, как бы осматривая местность. Мало-помалу все начали подъезжать к ней.

Они все незаметно приблизились теперь к небольшому леску, который прежде только синел пред ними тонкою полоской вдали от дороги.

– Не пора ли обедать, ваша светлость? – подъезжая крупную рысью, спросил у герцогини Бестужев, не участвовавший в скачках и лишь степенно наблюдавший за нами.

– Ах, нет еще, погоди, Петр Михайлович! – ответила Анна Иоанновна, блестя разгоревшимися глазами.

– Ну, а кто поймает меня? – вдруг крикнула Аграфена Петровна, и, прежде чем кто-нибудь успел опом-

ниться, она была уже у опушки леса, перепрыгнула какую-то канаву и исчезла в зелени деревьев.

– Куда ты... сумасшедшая! – мог только крикнуть отец вслед ей.

Никита Федорович вместе с другими, не помня себя, кинулся за Бестужевой.

Они быстро миновали пространство, отделявшее их от леса, и Волконский, к своему удовольствию, чувствовал, что его лошадь еще совершенно свежа и легко перепрыгнула канаву у леса. Пригибаясь к седлу, чтобы ветви не мешали ему, он поехал между деревьями, стараясь разглядеть след лошади Аграфены Петровны, и с ужасом замечал, что это невозможно, и что он теряется в чаще похожих друг на друга стволов леса. Он огляделся кругом. Остальных охотников уже не было видно. Только направо и налево слышалось хрустение веток и валежника, ломавшегося под ногами их лошадей. Волконский остановился. Мало-помалу треск валежника стал слабее и, наконец, вовсе замолк. Очевидно, все разъехались, сдержав лошадей, потому что бесцельная скачка была не нужна и опасна. Князь Никита поехал вперед наугад. Он долго пробирался между деревьями, не зная направления и не отдавая себе отчета, едет ли он вперед или назад и сколько времени прошло с тех пор, как они въехали в лес.

«Нет, – соображал он, – верно, я свернул с дороги, потому что иначе встретил бы кого-нибудь... Боже мой!..»

И сердце его сжалось при мысли, что кто-нибудь другой настигнет ее и что, может быть, теперь она уже настигнута, и охота кончена, и все, забыв о нем, собрались где-нибудь и завидуют охотнику, которому улыбнулось сегодня счастье. Дыхание у него сжалось, и сердце забилося – неужели кто-нибудь другой, не он, будет сегодня победителем? И, ударив лошадь, он поскакал вперед.

Лес, сначала частый, начал редеть, и скоро между стволов показались просветы.

«Так и есть! – с отчаянием подумал Волконский, – это – опушка; я вернулся назад, опять к тому месту, откуда мы поехали...»

Но вдруг признак надежды вдохнул в него новую силу. Он ясно услышал фыркание чьей-то лошади и тяжелую неровную поступь копыт.

«А вдруг это – она?» – мелькнуло у Волконского, но тут же, по биению своего сердца, он решил, что это не может быть Бестужева.

Он выехал не на опушку, как ему показалось сначала, но на довольно широкую лесную полянку, где пред большим корявым пнем топталась на одном месте огромная лошадь барона, напрасно силившегося

одолеть ее упорство.

– Наконец-то кто-нибудь! – радостно крикнул барон, – теперь ничего, она пойдет за другою лошадью... Погодите меня!

Но Волконский быстро повернул назад и что было силы всадил шпоры в бока лошади; та понеслась. Однако он слышал, что барон скачет за ним, становится все ближе и ближе к нему, и теперь все его мысли и все уменье были направлены к тому, чтобы отделаться во что бы то ни стало от этого смешного немца.

Никита Федорович летел стремглав, перепрыгивая сваленные стволы, рывины и не обращая внимания на хлеставшие его ветки. Барон отстал от него, а он, не помня ничего, так как вдруг решил, что теперь для него уже все пропало, все-таки несясь вперед, с мучительной тоскою повторяя себе:

«А как все это могло быть хорошо сегодня!»

И вдруг посреди этой бешеной скачки его лошадь вынесла снова на поляну. Тут, скрестив на груди руки и высоко закинув голову, одна, еще не настигнутая никем, стояла Бестужева.

Никита Федорович, не веря свои глазам, бросился к ней.

«А, это – вы, князь!..» – как бы сказала она всем своим движением и, ударив лошадь, кинулась в сторону.

Догнать теперь ее составляло жизнь или смерть для князя Никиты.

Аграфена Петровна, как бы щеголяя своим умением держаться на лошади и, видимо, будучи отлично знакома с местностью, неслась впереди, заставляя Волконского делать безумные скачки и повороты. Но он, готовый лучше зарезать лошадь или лишиться жизни, чем отстать, гнался с настойчивым, отчаянным упорством и надеждой. Несколько раз он почти настигал Аграфену Петровну, но не было места объехать ее, и он волей-неволей должен был оставаться сзади. Наконец, замучив своих взмыленных лошадей, они приблизились к опушке. Никита Федорович безжалостно посылал и хлыстом, и шпорами свою лошадь. Но вот она сделала, казалось, последнее страшное усилие – и Волконский увидел, что он уже скачет рядом с Аграфеной Петровной, что, протянув руку, он может достать удила ее лошади. Он нагнулся вперед и действительно схватил под уздцы лошадь Бестужевой. Аграфена Петровна не ожидала этого и покачнулась в седле. Князь должен был обхватить ее свободною рукою, чтобы она не упала, Это движение было совершенно невольным. Лошади сделали еще несколько скачков и, измученные, готовы были остановиться. Как это случилось – Волконский не помнил, но забыв о том, что он делает, и не владея

собой, он в опьянении счастья прикоснулся губами к горячей щеке Аграфены Петровны.

Девушка вздрогнула и рванулась от него. Он не удерживал. Лошади пошли шагом.

Аграфена Петровна ехала молча, низко опустив голову и кусая губы.

«Все пропало! – думал Волконский. – Боже мой, Боже мой, что я наделал!..»

Насупив брови и не сказав ему ни слова, Бестужева приблизилась, наконец, к разбитому в поле шатру, у которого давно гудел звонкий рог доезжачего, сзывая участников охоты.

Волконский слез с лошади и едва устоял на ногах. Колена его дрожали, и руки тряслись. Должно быть, он был очень бледен, потому что Черемзин с беспокойством подошел к нему и советовал выпить вина.

– Не надо, – слабым, безнадежным голосом ответил Волконский, – теперь ничего не надо.

– Да что с тобою? – настаивал Черемзин. – Тебе нездоровится?... Ты, верно, слишком устал... Тебе бы вина, – предлагал он.

Никита Федорович почти бессознательно поймал одно только слово «вина» и невольно зацепился за него мыслями, придав ему свое, совершенно иное значение.

«Виноват, сам виноват!..» – повторял он себе.

У шатра был разостлан большой ковер, уставленный посредине яствами и питьем. Здесь все весело расположились, чувствуя большое удовольствие хорошо поесть, проведя столько времени на вольном воздухе и верхом. День выдался очень удачный. Веселье было полное.

Один Никита Федорович сидел, ни к чему не прирагиваясь. Он был чужд этой веселой толпе. Сегодня он испытал мимолетно слишком большое, незаслуженное, украденное, как думал он, счастье, чтобы теперь радоваться какому-то пустому и мелкому веселью. Правда, его дерзость никогда не будет прощена и навеки унесла всякую надежду, и теперь ничто не может быть ему радостно... И ему вдруг показалось невыносимо оставаться в этой равнодушной, глупой и совершенно чуждой ему толпе, имеющей силы поселиться и смеяться после того, что случилось с ним. Он почувствовал неудержимую частую дрожь в правой щеке и, как молния, по его лицу пробежала нервная судорога.

«Что с ним?» – мелькнуло у Бестужевой.

– Князь Никита, – быстро сказала она, подняв тонкой, маленькой рукою хрустальный стакан, – подайте мне меда – вон того красного, что стоит возле вас.

И жизнь вернулась в душу Волконского. Он встал, задыхаясь от нового нахлынувшего на него счастья,

подошел к ней и дрожащею рукой наклонил над ее стаканом большой кувшин с медом.

– Что с вами? – укоризненным шепотом спросила Бестужева. – Это ни на что не похоже!

Кругом стояли говор и смех. Никто, казалось, не обращал на них внимания.

Волконский вернулся на свое место совсем преобразившийся, сияющий.

«Что с вами? Это ни на что не похоже», – безостановочно твердил он себе, думая, что сходит с ума от радости, глядел теперь кругом на всех добрыми, ясными глазами, и их смех и веселье, казавшиеся ему за минуту пред тем ненавистными, теперь были для него дороги, милы.

Анна Иоанновна слышала, как Бестужева подозвала к себе Волконского – того самого Волконского, который так еще недавно там, у окна замка, спешил отделаться от ее разговора, – видела, как он подошел к Аграфене Петровне, и заметила перемену в нем после того, как та что-то тихо сказала ему.

«Ишь, одним словом осчастливила человека!» – подумала Анна Иоанновна, и дурное чувство к Бестужевой снова вспыхнуло в ней.

– Принесите мне накидку, я забыла ее в шатре, – резко и громко сказала она по-немецки, обращаясь к Аграфене Петровне.

При этом смелой и неожиданным приказании, которое не могли не слышать все, всем как-то сделалось неловко, и гул разговора внезапно затих.

Бестужева изменилась в лице, – никогда еще ничего подобного не случилось. Ее отец удивленно поднял голову, точно не веря своим ушам; но Анна Иоанновна, как бы равнодушно смотря вдаль, видимо, настойчиво ждала исполнения своего приказания.

Старик Бестужев встал, чтобы пойти вместо дочери за накидкой.

– Когда герцогиня приказывает, – вдруг еще резче произнесла Анна Иоанновна, – нужно немедленно исполнять ее приказание. Аграфена Петровна, слышали?

Бестужева, бледнея и дрожа, подняла голову. Ее отец в ужасе сжал себе виски руками и закрыл глаза. Остальные потупились, ожидая, что произойдет сейчас неудержимая вспышка Аграфены Петровны. Но она, сделав над собой усилие и чуть слышно прошептала: «А-а, если так...» – медленно встала со своего места, вошла в шатер и вернулась оттуда с накидкой.

Прежнее веселье как рукой сняло. Сидели недолго и молча; герцогиня велела подавать лошадей. «Охота» кончилась.

V. Бестужева

Аграфена Петровна вернулась в Митаву вместе с отцом, и дома с нею сделался нервный припадок.

Петр Михайлович серьезно забеспокоился о здоровье дочери. Однако она даже без помощи доктора сама оправилась, но прежняя веселость не вернулась к ней. Она ходила с серьезным, сосредоточенным лицом, на котором так и застыло появившееся выражение затаенной обиды, когда она встала на охоте за накидкой герцогини со словами: «А-а! если так...» Бестужев внимательно следил за нею и, зная ее характер, был очень встревожен ее душевным состоянием. Оставалось не больше недели до 29-го июня — дня именин не только самого Петра Михайловича, но главное — государя. Этот день обыкновенно праздновали у Бестужева с подобающею роскошью. По своему положению в Митаве, он должен был делать приемы в высокаторжественных случаях, а именины государя были, безусловно, одним из таких случаев. В этом году, как и прежде, он хотел устроить у себя бал, но боялся, как бы нездоровье дочери не помешало этому. Пригласить на бал герцогиню было необходимо, но после оскорбления на охоте Аграфена Петровна, вероятно, постарается избежать всякой встречи с

нею и ради этого, может быть, нарочно скажется больною. Бестужев положительно терялся. Сделать бал без хозяйки, так, чтобы Аграфена Петровна не выходила к гостям, – ему казалось неловко; а главное – он знал, что тогда всем будет скучно, о гостях придется заботиться ему самому, и он не будет иметь времени для кое-каких разговоров с нужными, важными в Митаве людьми, которые съедутся к нему. Если же вовсе не сделать бала – выйдут большие неприятности, потому что об этом наверное донесут в Петербург, и государь может остаться недоволен.

Петр Михайлович решился поговорить с дочерью.

Он пришел к ней, в ее маленькую гостиную и застал Аграфену Петровну с покрытою теплым платком головою.

– У меня страшно голова болит, – начала она, – просто места не найду...

– Я же предлагал тебе послать за доктором, – сказал Бестужев, опускаясь на кресло. – А мне очень нужно, чтобы ты здорова была, – быстро добавил он, заметив нетерпеливое движение дочери при упоминании о докторе.

Она вопросительно взглянула на отца.

– Петров день близко, – пояснил он, – наш ежегодный бал не может состояться без тебя; нужно, чтобы ты была здорова...

– Я и буду здорова! – несколько удивленно ответила Аграфена Петровна, – будьте покойны; напротив, мне нужно теперь какое-нибудь развлечение...

– Ну, вот и прекрасно! – я уверен, что ты будешь веселиться... гостей будет много. Само собою разумеется, нужно пригласить всех.

Бестужев нарочно подчеркнул слово «всех». Аграфена Петровна как будто не поняла.

– Ну, конечно! – подтвердила она.

– Оберратов с женами, баронские семьи, бургомистра, наших офицеров, герцогиню, – перечислял Бестужев, внимательно косясь на дочь.

Она с улыбкой кивала головою в подтверждение его слов.

У Петра Михайловича отлегло от сердца.

– Значит, тебе не претит, снова встретиться с Анной Иоанновной? – недоверчиво спросил он, не скрывая, однако, своего удовольствия.

– Разумеется, не претит! Что ж я могу против герцогини? – подчеркнула в свою очередь Бестужева. – Нам, конечно, не приходится с нею ссориться, раз мы тут на холопском положении.

– Перестань, Аграфена! – остановил ее отец.

– Да ведь я согласна на все, чего же вы хотите больше?... Устраивайте бал, я развлекусь, мне все равно – пусть тут все будут, я согласна...

– Ну, хорошо, хорошо!.. А какое же платье ты наде-нешь на бал? Сшей новое. Если нужно денег – возь-ми, сколько хочешь, – предложил Бестужев, желая ба-ловством вознаградить дочь за ее покорность.

– Я уже подумала об этом, – улыбнулась она. – У меня есть все, платье я устрою себе; а вот если хотите сделать мне удовольствие...

– Господи! Да все, что хочешь... спроси только!

– Дайте мне денег на материю для этой мебели: ее нужно обтянуть заново, посмотрите, как она обтрепа-лась.

Бестужев оглядел комнату. Мебель действительно показалась ему очень потертой, и он удивился, как не замечал этого раньше.

– Ну, что ж, я сегодня же велю управляющему, что-бы он пришел к тебе за приказанием, – сказал Петр Михайлович, вставая и, простившись с дочерью, тот-час отправился в замок приглашать герцогиню на бал.

Едва успел уйти Петр Михайлович из гостиной до-чери, как она позвала к себе свою молоденькую нем-ку, горничную Розу, которая была всегда доверенным ее лицом и исполнительницею всех приказаний.

– У нас будет скоро бал, Роза, – сказала Бестужева.

– Это очень весело... и госпожа будет веселиться, – ответила та, приседая.

– Вы мне нужны будете для одного дела, Роза.

– Я всегда к услугам моей госпожи.

– Вот что: мне необходимо знать, в каком платье будет герцогиня у нас на балу, и вы это можете узнать мне, я думаю?

– Это – не мудреное дело, – рассмеялась Роза, – это очень легко узнать: у нас есть близкие приятельницы в штате герцогини... Госпожа может быть покойна.

Аграфена Петровна действительно была покойна; она знала, что на Розу можно вполне положиться.

Отпустив горничную, она задумалась. Недавние события вспомнились ей во всех своих подробностях. И странно, первое место в этих подробностях занимало не унижение, перенесенное ею, не подавленное чувство стыда и горечи, которое, впрочем, далеко еще не изгладилось, да и не могло изгладиться; нет, на первом месте было воспоминание о Волконском. Его взволнованное лицо, сначала несчастное, потом сияющее, как живое, стояло пред нею.

«Что за глупости! – поморщилась она – Зачем я думаю об этом?»

И она постаралась заняться подробным обсуждением своего будущего бального наряда, но вдруг поймала себя на мысли о том, понравится ли ее платье князю Никите, и опять задумалась о нем.

А Волконский в это время ходил большими шага-

ми по кабинету Черемзина, круто поворачиваясь по углам на каблуках. Черемзин сидел у окна и улыбался хитрою, дружески-насмешливою улыбкою. Сегодня утром, вернувшись из города, он сказал Никите Федоровичу, что теперь только и разговоров, что о недавней «охоте» и, между прочим, о нем, Волконском.

– Я-то тут при чем? – спросил он.

– Веди себя, мой друг, впредь иначе, умеи сдерживаться! – наставительно пояснил Черемзин. – Ты думаешь, я не видел вчера истории с кувшином меда?

– Какой истории с кувшином? – спросил упавшим голосом Волконский, отлично понимая, про что говорят ему.

– Ты знаешь! – ответил Черемзин. – Неужели ты думаешь, никто не заметил, что ты совсем влюблен в Бестужеву?

Эти слова: «влюблен в Бестужеву», до того показались Волконскому низменными и пошлыми в сравнении с тем чувством, которое он испытывал теперь, что кровь с силою прилила ему в голову, и злоба сдавила горло.

– Вздор, неправда! – крикнул он. – Никто не смеет говорить так! По какому праву?

Черемзин пожал плечами.

Волконский несколько раз нервно прошелся.

– Я повторяю тебе, что это – вздор, – заговорил он более спокойным голосом, – этого не может быть.

– Отчего же не может быть? Напротив, это вполне просто и естественно. Мы все, кажется, влюблены тут в нее, только ты, должно быть, серьезнее других... потому что Аграфена Петровна...

– Ну?... – перебил Волконский.

– Кажется, сама к тебе очень... расположена, – проговорил Черемзин, как бы подыскивая подходящее выражение.

– Как? И это говорят? – воскликнул Никита Федорович, чувствуя, будто пол начинает колыхаться под его ногами, и вся комната вертится.

– Да ведь она ни к кому из нас так не относится...

– Вздор, вздор! – крикнул опять Волконский. – Ничего этого нет... это невозможно.

– Ну, сознайся, голубчик: ты влюблен?

– Нет.

– И не заметил, что она именно тебя позвала вчера налить ей меду?

– Нет, не заметил.

– И вполне к ней равнодушен?

Дальше Волконский лгать не мог.

– Да что ж это? Допрос, что ли? – спросил он. – Тебе какое дело?

– А, видишь ли, я должен сообщить тебе одно изве-

стие, которое тебе может быть неприятно, если наши предположения справедливы.

– Какое известие? – испугался Никита Федорович.

– Да ведь ты говоришь, что это – неправда, значит, пугаться нечего.

– Какое же известие? Говори, не тяни, ради Бога!

– Из Петербурга пришел указ...

– Обо мне? – спросил Волконский, побледнев.

– Да. Велят тебе ехать дальше. Отсюда, должно быть, донесли, что ты здесь загостился вопреки царскому приказанию.

– Господи! – мог только выговорить Никита Федорович и закрыл лицо руками.

– Да чего же ты? Ведь даже за твое послушание на тебя не сердятся... поезжай! – успокоительным голосом проговорил Черемзин.

Князь Никита только рукою махнул.

– Ну, как же ты не влюблен? Ну, как же? – смеясь, начал опять Черемзин. – Да успокойся! Я лишь поймать тебя хотел; никакого указа нет... все это я рассказал так только, чтобы ты попался.

Никита Федорович отнял руки от лица. Его испуг и ужас были так сильны, что он готов был даже простить теперь Черемзина за то, что тот солгал ему, лишь бы его известие оказалось неправдой.

– Да ты теперь врешь или прежде соврал? – спро-

сил он, едва приходя в себя.

– Прежде, прежде соврал; право, никакого указа нет. Напротив, могу сообщить тебе даже приятную новость: у входа в замок я встретил Бестужева; он приехал сюда приглашать герцогиню к себе на бал двадцать девятого и позвал тоже меня с тобою. Желая, голубчик, успеха; советую танцевать польский с Аграфеной Петровной, и будь уверен, что я попусту болтать ничего не стану, – заключил Черемзин, подходя к Волконскому и дружески кладя ему руки на плечи.

VI. Бал

В день бала в доме Бестужева работа кипела с утра. В саду настилали пол для танцев, строили помост для музыкантов и готовили иллюминацию. В залах расставлялись столы для угощений, среди которых должна была появиться модная новинка – лимонад. В маленькой гостиной у Бестужевой стучали молотками и ползали немцы-рабочие, спешившие к сроку околотить мебель новой материей.

– И зачем ты это затеяла? – сердился теперь Петр Михайлович, приходя к дочери. – Не успеют они.

– Успеют, – успокаивала Аграфена Петровна.

Она сидела пред зеркалом, в белом пудермантеле, терпеливо отдав свою голову в распоряжение Розы, которая причесывала ее с помощью служанок.

– А ты не ошиблась, Роза? У герцогини будет платье именно такое, желтое?

– Я принесла моей госпоже даже образчик. Госпожа может быть спокойна.

Лицо Аграфены Петровны было весело и по-прежнему оживилось. Она, казалось, так была в духе сегодня, что даже не сердилась на обычную медленность Розы, с которой та устраивала сложную прическу. Правда, на этот раз прическа ей особенно удава-

лась и шла лицу Аграфензы Петровны.

Роза, как художник, любуясь своим произведением, не торопилась. Наконец, она вплела поверх высоко взбитых волос Аграфены Петровны несколько крупных зерен жемчуга, и прическа была готова.

Аграфена Петровна встала. Белая короткая юбка высоко открывала ее маленькие ножки, обутые уже по-бальному – в светло-голубые атласные туфельки и такие же шелковые чулки, присланные ей недавно из Ганновера братом; он же прислал ей светло-голубую материю, легкую и мягкую, из которой было сшито сегодня ее платье с длинным королевским шлейфом.

Петр Михайлович уже несколько раз подходил к дверям уборной дочери и торопил ее.

– Все уже готово, – говорил он, – сейчас гости начнут съезжаться, пора.

Аграфена Петровна тем не менее не спешила. Платье уже было надето на ней. Две горничные возились со шнуровкой. Роза осматривала и поправляла складки.

– Настоящая княгиня! – проговорила она, сложив руки и смотря на свою госпожу.

– Что? – переспросила Аграфена Петровна.

– Eine Fürstin, eine Fürstin¹! – повторила Роза. – Иначе и быть не может.

¹ Княгиня, княгиня (нем.).

Аграфена Петровна прищурилась, и самодовольная улыбка скользнула по ее тонким губам. Она была довольна и нарядом, и собою, и сегодняшним днем.

Аграфена Петровна прошла через маленькую гостиную, которая теперь была уже заново обита, и направилась в зал, где начинали собираться гости. Она оглядела их и прежде всего заметила, что Волконский еще не приезжал.

«Зачем я опять вспомнила именно о нем? – подумала она, стараясь отогнать от себя эту мысль. – А все-таки его нет, – снова настойчиво пришло ей в голову. – Пустяки!» – решила она.

Волконский несколько опоздал из-за Черемзина, с которым должен был ехать вместе из замка и который одевался слишком долго. Он причесывался, душился, мазал голову какою-то особенной эссенцией и до того надоел князю Никите, что тот пригрозил, что уедет один; лишь тогда, наконец, Черемзин оторвался от зеркала.

Бал не начинали до приезда герцогини. Аграфена Петровна с дамами сидела в маленькой гостиной. Мужчины ходили по остальным комнатам в ожидании Анны Иоанновны.

Наконец, суетливый дворецкий, ловко пробираясь между гостями, отыскал Петра Михайловича и предупредил его, что на углу показался экипаж герцогини.

Бестужев пошел встречать ее на крыльцо.

Через несколько минут Анна Иоанновна в ярко-желтом пышном платье, нарочно сшитом для нынешнего дня и стоившем долгих расчетов и выгадываний, любезно отвечая на низкие поклоны расступившихся пред нею гостей, прошла через зал в гостиную, где ждала ее Аграфена Петровна, которая, отговорившись болезнью, не пожелала встретить герцогиню у двери.

Бестужева стояла посреди своей маленькой гостиной, прямая и гордая, с торжественной улыбкой на губах.

«Боже мой, как хороша!» – подумал про нее Волконский, подойдя к дверям вслед за герцогиней.

Анна Иоанновна вошла в гостиную твердо, решительно походкой, чуть потряхивая головою, с выражением: «Я знаю сама, что мне делать».

Аграфена Петровна и другие дамы низко поклонились ей. Она ответила кивком головы, осмотрелась кругом, и какой-то внезапный испуг выразился на ее лице. Сначала она вдруг покраснела, потом побледнела, как полотно, и губы ее дрогнули. А Бестужева нежным, вкрадчивым голосом говорила ей в это время:

– Милости просим, ваша светлость, не угодно ли сесть, вот кресло, вам здесь будет удобнее.

Роза оправдала доверие своей госпожи. Образчик, который она достала, был действительно от платья герцогини – и мебель гостиной оказалась обитой точь-в-точь от одного куска, тою же самую ярко-желтою материей, из которой было сшито ее платье.

Неудержимая усмешка цвела кругом, на лицах всех дам. Столпившиеся у дверей мужчины тоже едва сдерживали смех, готовый вырваться у них, а в задних рядах смешливый толстенький барон вовсе не мог удержаться и фыркнул. Бестужев стоял бледный, не зная, что ему отвечать. Одна только Аграфена Петровна как будто ничего не замечала и наивно-участливо смотрела на герцогиню, страшно изменившуюся в лице и готовую упасть.

– Воды!.. воды! – послышался шепот кругом. – Герцогине дурно... воды, скорее!

Принесли воду, хотели усадить Анну Иоанновну, но она, несмотря на свою дурноту, сверхъестественным усилием держалась на ногах, не желая сесть в «горевшее, как ее платье, словно золото», ярко-желтое кресло гостиной. Под руки провели ее до кареты, и она вне себя уехала домой, чтобы ни минуты больше не оставаться в доме Бестужева. Аграфена Петровна жестоко отомстила ей.

Едва успела уехать герцогиня, и провожавший ее Бестужев не вернулся еще в зал, как по приказанию

молодой хозяйки грянули литавры и трубы, и гости попарно, в предшестве музыкантов, стали спускаться в сад, где должны были происходить танцы на устланной нарочно для этого деревянным полом площадке, украшенной кругом гирляндами, щитами и флагами.

Войдя на площадку, мужчины и дамы разделились. Нужно было выбрать «царицу бала».

– Аграфену Петровну, ее, только ее! – крикнул Никита Федорович, задыхаясь от волнения и блестя глазами, готовый, кажется, тут же уничтожить всякого, кто бы посмел возразить против этого.

– Ну, конечно, – подтвердил Черемзин, – кого же, как не ее?

– Да, да, ее... Аграфену Петровну! – говорили остальные, и бронзовый золоченый жезл и перчатки – обычные знаки достоинства «царицы бала» – были торжественно поднесены Бестужевой.

В самом деле она, нежная, милая, со своим жемчугом, лежавшим в ее волосах в виде короны, выделялась из всех, точно царица.

Она сделала несколько шагов вперед. Теперь ей следовало выбрать маршала.

Мужчины длинною вереницей стали подходить к ней.

Первым подошел какой-то немец, очень напыщенный, древнего рода и опустился на одно колено, сме-

ло протягивая руку к жезлу; Бестужева махнула перчаткой. Немец встал, обиделся и отошел в сторону.

«Ну, конечно!» – подумал Волконский.

Он почему-то был очень спокоен. Ему казалось, и он не сомневался в этом, что жезл будет передан именно ему, Волконскому. Откуда явилась такая уверенность, он не мог дать себе отчет, но оглядевшись, невольно почувствовал, что многие согласны с ним, и что наверное только он будет выбран маршалом.

За немцем следовал драгунский офицер, за офицером – опять немец, потом еще кто-то, потом толстяк-барон, но Бестужева всем им махала перчаткой, и они удалялись в сторону с огорченным лицом.

Наконец, очередь дошла до Никиты Федоровича. Он, не теряя еще своей уверенности, опустился на колени, тут только замечая, что ноги его дрожат. И вдруг всякая надежда оставила его.

«Нет, куда мне... не меня!» – говорил он себе, взглядывая на Бестужеву и испытывая неизъяснимое наслаждение стоять пред нею на коленях.

Аграфена Петровна лукаво, как бы в нерешимости, посмотрела ему прямо в глаза, и на ее лице появилась совсем особенная улыбка, в которой отразилось все счастье влюбленного в нее Волконского. Правая рука ее, державшая жезл, чуть шевельнулась.

«Неужели? – с замиранием сердца подумал Вол-

конский, но Бестужева махнула перчаткой, и свет померк в глазах Никиты Федоровича. – И откуда я это выдумал? – рассуждал он – Откуда? Зачем ей меня... и, Господи! И зачем Черемзин говорил мне, что она... Нет! Нет, этого быть не может; нет, теперь уже все кончено!»

Черемзин подошел к «царице» сейчас же за Волконским. Никита Федорович видел, как он опустился на колено, как Аграфена Петровна протянула ему жезл, дала поцеловать свою руку и приложила два пальца к его щеке, исполняя старинный обряд посвящения в рыцари. Все это было на его глазах.

Музыка заиграла польский. Торжествующий Черемзин, слегка покачиваясь всем корпусом и развевая полы своего богатого атласного кафтана, повел Аграфену Петровну в первой паре в такт, под мерные звуки польского.

Волконский остался в числе немногих молодых людей, которым не хватило дам. Но он, разумеется, и не желал танцевать. Теперь уже ничто не нравилось ему здесь. Он твердо решил сейчас же уехать домой, как только кончится этот польский. Мало того, он был уверен, что завтра же уедет навсегда из Митавы, будет заниматься «делом» и ни за что не встретится с Аграфеной Петровной. Пусть она веселится с Черемзиным, с кем угодно, но он, князь Никита, забудет ее

как можно скорее. Какое, собственно, было «дело», которым он собирался заняться, – он, разумеется, не знал хорошенько; но он был уверен, что то, что он делает, будет очень важно и нужно. Ему по крайней мере казалось так.

Аграфена Петровна в это время, в паре с Черемзиным, уже два раза прошла мимо Волконского, и теперь, делая третий круг, снова приблизилась к нему. Она смотрела прямо на него с задорною, вызывающе улыбкой. Он опустил глаза, стараясь в свою очередь улыбнуться как можно равнодушнее и не глядеть на нее. Но Бестужева оставила руку Черемзина и протянула ее Волконскому. Черемзин, как ни в чем не бывало, как будто он ничего не терял и не выигрывал, принял даму следующей пары и повел ее, по-прежнему покачиваясь и развевая полы кафтана. Никита Федорович пошел впереди с царицей бала.

Он чувствовал в своей руке маленькую, тонкую руку Аграфены Петровны, и ее прикосновение заставляло в нем сердце неудержимо биться, грудь его наполнялась восторженным трепетом, мысли путались и переходили наяву в какие-то чарующие, волшебные грезы.

«Да ведь это – она, сама она, со мною рядом... Боже, как хорошо!.. Прелесть моя», – думал Волконский, напрасно стараясь держать прямо и ровно свою непо-

слушную, дрожащую руку.

– Что с вами? – спросила Бестужева.

– Не знаю, – ответил Волконский, – почему я знаю...

Он, не теряя такта, ускорил шаг, но заговорил тише, так тихо, что Аграфена Петровна могла лишь догадываться о том, о чем он говорил, по движению его губ; и она догадывалась и понимала.

– А вы загостились в Митаве, – снова заговорила она. – Ведь вы проездом здесь?

– Не знаю... право, не знаю... Я знаю теперь лишь одно, что никогда не уеду отсюда...

Она взглянула на него своими ясными, милыми глазами, как бы спрашивая этим взглядом: «Отчего?»

«Оттого, что я люблю тебя!» – чуть не вырвалось у князя Никиты, но он сдержал себя и, ничего не ответив, только глубоко вздохнул.

Аграфена Петровна улыбнулась и ниже опустила голову.

Петр Михайлович Бестужев, проводив герцогиню, вернулся к гостям рассерженный. Он отлично понимал, что его дочь нарочно устроила себе торжество в заново обитой гостиной, и боялся, как бы это торжество не стоило ему слишком многого, если взбешенная Анна Иоанновна напишет в Петербург жалобу. Он тревожился и сердился, но волей-неволей должен был при важных гостях сдерживать себя и не по-

казывать вида, что недоволен чем-нибудь. Напротив, он старался быть как можно любезнее с оберратами, заставлял себя занять приятным разговором богатых баронов, мало-помалу разошелся сам и, наконец, выпив стакан крепкого меда, совсем развеселился.

В сад на террасу он вышел, улыбаясь и позабыв на время недавнюю неприятность. Со ступенек террасы была видна разукрашенная площадка, где происходили танцы, и веселье, царившее там, гром музыки и причудливая, но красивая, движущаяся пестрота толпы танцующих приятно поразили его. Воздух был насыщен ароматом цветов, чист и спокоен; деревья, точно на картине, стояли недвижимы и тихи.

Разглядывая танцующих, Бестужев сейчас же заметил среди них свою дочь, которая шла в первой паре. При виде ее в нем было снова проснулось недовольство ее поступком с герцогинею, но он постарался сдержать себя.

«С кем это она?» – подумал он, стараясь рассмотреть, с кем танцует Аграфена Петровна, и, наконец, узнал Волконского.

По сияющему радостному лицу князя Никиты и в особенности по смущению дочери, которое не могло скрыться от отцовского глаза, Петр Михайлович догадался, что между ними что-то происходит теперь, что и князь, и его дочь не совсем равнодушно ходят в паре

под звуки этого польского. И вдруг он вспомнил недавнюю охоту, и та тоже показалась ему подозрительной.

«Так вот оно что! – решил Бестужев. – Ну, хорошо, посмотрим...»

В нем закипели досада и гнев против дочери. Положим, он никогда не был приверженцем старых московских порядков: сына весьма охотно отдал на воспитание в Берлин и радовался, когда тот, окончив там курс, поступил на иностранную службу; сам он, наконец, служил за границей и, давно став европейским человеком, держал дочь свободно, вовсе не по-московски. Но теперь, когда на самом деле, видимо, происходило то, о чем он проповедовал так часто на словах, в нем невольно поднялось скрывавшееся где-то на дне души чувство слепой отцовской власти над дочерью, и он возмутился ее самостоятельностью, которую сам же допустил и которой не стеснялся никогда до сих пор. Он вспомнил свою собственную женитьбу, вспомнил, как еще сравнительно недавно девушка не смела смотреть даже на жениха, а не только на постороннего молодого человека – и вдруг его родная дочь вот так свободно разговаривает с приезжим князем Волконским, у них, быть может, решается что-нибудь, а он, отец, ничего не знает, и он большими, тяжелыми шагами спустился с лестницы и направился к площадке.

В эту минуту как раз кончился польский, и пары с глубоким поклоном расходились в разные стороны.

Бестужев, сдвинув брови и сердито опустив углы губ, подозвал к себе дочь.

– Отчего ты танцуешь с Волконским? – спросил он, не скрывая своего гнева.

Аграфена Петровна удивленно взглянула на него.

– Надо же с кем-нибудь танцевать, – ответила она, – для того и бал.

– Хорошо... Но больше ты не будешь танцевать с ним во весь вечер. Слышала?

– Я избрана царицей бала, – возразила с улыбкой Аграфена Петровна, – и здесь, по закону и обычаю, все в моей власти: я могу делать все, что хочу, и танцевать, с кем мне угодно.

Она была права – обычай был действительно таков. Петр Михайлович ничего не мог сказать ей; его родительская власть здесь не имела силы.

– Черт возьми ваши обычаи и эти танцы! – процедил он сквозь зубы и на весь вечер остался уже молчаливый и неприветливый, с нетерпением ожидая, когда, наконец, разъедутся гости.

Черемзин, как маршал, распорядившись танцами, велел играть менуэт и стал устраивать пары. Аграфена Петровна танцевала менуэт опять с Волконским.

VII. Отец

Проводив последнего гостя, Бестужев, несмотря на поздний час, направился прямо в уборную дочери. Аграфена Петровна, утомленная весельем этого дня, сидела у зеркала в большом мягком кресле, медля позвать своих служанок. Она желала остаться несколько минут теперь одна, сама с собою, после всего этого бального шума, пестроты, суетни и блеска. Она откинулась на спинку кресла и сидела так, не меняя положения и наслаждаясь тишиной и покоем.

Отец вошел быстро, не постучав предварительно в дверь, и большими шагами приблизился к креслу.

Аграфена Петровна вздрогнула.

– Господи, как вы меня испугали! – проговорила она.

– Спасибо, Аграфена Петровна, зело тебе спасибо! – начал тот сердитым голосом. – Скажи, пожалуйста, что все это значит?

Бестужева не была удивлена ни вопросом, ни вообще неудовольствием отца. Она знала заранее, что дело не обойдется без серьезного объяснения, но не ожидала того тона, которым говорил теперь Петр Михайлович. Он никогда не обращался так с нею.

– Простите, батюшка, но сегодня я просто не могу

говорить: я устала, нездоровится мне, завтра...

– Если я говорю, так не завтра, а сегодня! – резко перебил Бестужев. – Да изволь встать, когда говоришь с отцом! – вдруг крикнул он и отвернулся.

Аграфена Петровна испуганно подняла свои прекрасные, выразительные глаза на отца, недоумевая, что сделалось с ним, и тихо встала с кресла, опустив голову и покорно сложив руки, готовая теперь слушать и подчиняться ему.

Эта ее покорность, – напускная покорность, как воображал Бестужев, – только больше взбесила его. Он хотел, чтобы лучше она рассердилась, вспылила, расплакалась, наконец, хотя он терпеть не мог слез, только бы она дала ему повод вылить, в потоке укоризненных слов, накипевшую в его груди злобу. Но она стояла пред ним, тихая и милая, в своем великолепном наряде, который удивительно шел к ней.

– Извольте ж отвечать, сударыня! – проговорил, едва сдерживаясь, Петр Михайлович.

– Да в чем же я виновата? – произнесла, вполне овладев собою, Аграфена Петровна.

– Мебель... мебель – это раз! – снова закричал Бестужев, раздражаясь уже резким звуком собственного голоса и в особенности тем, что не может сдержать гнев.

– Это – не более, как случайность; почему же я могла

знать, что это так выйдет?

– Знаю, все это я знаю тоже, что не случайность... меня-то, матушка, не проведешь!.. Ты вот тут думаешь о своем самолюбии, а мне приходится расплачиваться за это, – горячился Петр Михайлович. – Что ты думаешь, *она*, – он произнес это слово так, что было ясно, что он понимает герцогиню, – не напишет теперь обо всем в Петербург, не станет жаловаться?... Легкая штука – нечего сказать! И попомни мое слово, даром тебе эта мебель не пройдет... Вот увидишь, когда-нибудь да вспомнится... отмстит она тебе!.. Ну, а затем Волконский...

– Что же Волконский? – спросила вдруг Аграфена Петровна.

Бестужев остановился, подыскивая выражение, которое соответствовало бы тому, что он хотел сказать.

– Что у тебя было с ним, а?

Она не ответила.

– Что у тебя было с ним? – повторил Петр Михайлович.

– Решительно ничего... Что ж, я только танцевала... я могла сделать это. Тут не было ничего дурного...

Бестужев закусил губу.

– Ах, знаю я это все! – повторил он. – Да ведь ты: же понимаешь... ведь видишь, что он без ума от тебя...

– Если вы все видите, так должны и об этом знать, –

возразила она, пристально взглядывая на отца, ожидая, что он ответит.

– Та-ак! – протянул он. – А если, по-моему, и сама ты...

– Что я сама?... Ну, это – неправда, неправда, ничего я сама... для меня Волконский решительно как все другие, – волновалась Аграфена Петровна, а в голове у ней мелькало в это время: «Господи! неужели заметно?... неужели я в самом деле?.. да нет, нет!..» – Этого не может быть, – продолжала она вслух! – Кто вам сказал это? Или вы сами заметили?

– Это все равно, но если это так, то я тебя предупреждаю, что этого никогда не будет, я не позволю. Слышишь? не позволю... Я тебе дам без отца, никогда не спросясь... замуж выходить!.. Ишь, выдумала... волю забрала! Так я сумею привести тебя на путь истинный!

И Бестужев, круто повернувшись, ушел, застучав каблуками и не простившись с дочерью.

Аграфена Петровна долго оставалась перед зеркалом, так, как оставил ее отец. Мысли с особенною, необычайною быстротою менялись в голове. Гнев отца, торжество над герцогиней, невыясненное до сих пор и вдруг получившее теперь точно какую-то определенную форму чувство к Волконскому, – все это волновало ее, тревожило, не давало успокоиться. Она забыла об усталости и чувствовала, что сон не

придет к ней... Грудь ее точно была стеснена чем...

«Шнуровка, – пришло ей в голову, и она, подумав о своем наряде, оглядела себя в зеркало с ног до головы. – „Eine Fürstin – настоящая княгиня“», – вспомнила она слова Розы.

Аграфена Петровна позвала Розу, велела раздеть себя и подать свой широкий шелковый шлуппер.

– Я еще не лягу в постель, – пояснила она и, сев за свой маленький письменный стол, тщательно очинила перо и начала письмо к брату в Ганновер.

Она по-немецки писала ему о перемене в отце, об его вспышке и о том, что он вдруг выразил желание стать тираном ее души в противность тому просвещению, которое столь свойственно всему роду Бестужевых. О Волконском, разумеется, в письме не было речи. Да и не о нем теперь беспокоилась Аграфена Петровна. Ей важно было выяснить при помощи брата, неужели, если действительно она полюбит кого-нибудь, то отец может положить запрет на ее свободную любовь, на лучшее чувство ее души?

Анна Иоанновна в этот вечер тоже долго не ложилась спать и тоже писала. Она писала медленно, постоянно морщась и с невероятным трудом обдумывая «штиль» своего письма. Вернувшись домой, она быстро скинула свое ярко-желтое платье и тут же подарила его камеристке, потом прогнала всех из ком-

наты и села писать прямо к дяде-государю. Она долго перечеркивала, переписывала и переделывала, но, составив, наконец, слезную жалобу на Бестужева царю Петру, перечитала ее и изорвала. Она положительно не могла написать так, как следовало. Все письмо к государю сочинял ей Петр Михайлович, и теперь некому было заменить его.

«Господи, что же делать мне? – спрашивала себя Анна Иоанновна. – Матушке написать, она – моя единственная защитница, – решила она, и уже без помарок и перечеркиванья, написала многословное послание к царице Прасковье, в котором жаловалась на терпимые ею в Курляндии притеснения и просила, чтобы матушка умолила своего деверя-царя отозвать отсюда Бестужева. – Ну, Петр Михайлович, посмотрите вы с вашей Аграфеной теперь! Уж я терплю-терплю, а потом добьюсь своего, посмотрим... Заговорите вы, как уберут вас отсюда!» – думала она, заранее радуясь тому, как «разжалуют» Бестужева, в чем она не сомневалась, надеясь, что государь ни в чем не откажет своей покорной золовке.

На другой же день Петр Михайлович узнал, что герцогиня послала уже рано утром секретного гонца в Петербург с собственноручным письмом к матушке-царице Прасковье. Цель этого послания и содержание письма были ясны Бестужеву.

Когда он по обыкновению приехал к герцогине утром с докладом, та не приняла его. Дело выходило серьезным, так как Анна Иоанновна, видимо, начала открытую борьбу, и Петр Михайлович задумался, не зная на этот раз силы противника. На такой явный разрыв с ним герцогиня могла решиться, только заручившись твердою поддержкою в Петербурге, а Бестужев знал, что такая поддержка не невозможна для нее. Он выждал несколько дней, не одумается ли Анна Иоанновна и не пришлет ли за ним; но она не присылала. Тогда он еще раз попробовал явиться в замок, но его опять не приняли. Очевидно, герцогиня не боялась его.

Петр Михайлович дома ходил сердитый, не в духе, упрекал дочь за случившееся, и его обхождение с нею совершенно изменилось. В обществе он старался казаться равнодушным и веселым, но многие замечали, что это равнодушие и веселье служили только маскою для того беспокойства, от которого не был в силах отделаться Бестужев.

Анна Иоанновна, в ожидании ответа из Петербурга на свое послание, переехала на житье в Вирцау, и – странное дело – митавский замок с отъездом хозяйки не только опустел, но, напротив, в нем точно проснулась жизнь. Население замка, не стесняемое теперь присутствием герцогини, оживилось, в саду

появились гуляющие, на дворе показалась прислуга, в окнах дольше обыкновенного по вечерам блестели огни, и только покои герцогини темнели по-прежнему.

Волконский с утра выходил в сад, не боясь уже встретиться с герцогиней, и подолгу гулял там со своею книжкой.

Он находился теперь в самом блаженном состоянии счастливого влюбленного и, наслаждаясь воспоминаниями бала, думал только об Аграфене Петровне и искал с нею встречи.

Черемзин рассказал ему, что на днях будет храмовый праздник в церкви Освальдского замка, где жил старый граф Отто, и что в этот день вся Митава бывает у него в гостях. Князь Никита сейчас же подумал, что наверно там будут Бестужевы и что хорошо было бы попасть туда, если это возможно.

Замок Освальд, расположенный недалеко от Митавы, вверх по реке Аа, на левом ее берегу, на небольшом холме, был основан в 1347 году рыцарем Ливонского ордена Освальдом и сохранил все свое прежнее величие, несмотря на пронесшиеся над его стенами века. Народное движение, реформация и, наконец, распадение ордена прошли для него бесследно, и в начале XVIII столетия живший там бездетный старец граф Отто – последний Освальд – оставался верным католиком и ревниво охранял свой замок от вся-

кого новшества. Граф никого не принимал и сам не выходил за черту своих окопов. Народ про него рассказывал басни; говорили, что он – алхимик и чародей, а в Митаве считали его просто выжившим из ума сумасбродным стариком, хотя и отзывались о нем с уважением.

Замок со своими высокими стенами, рвами, башнями и бойницами, с подъемным, гремевшим цепями мостом, имел снаружи странный, таинственный вид и казался необитаемым. Только в утренний час обедни из-за этих стен раздавались мерные удары колокола.

Старый граф жил у себя, как хотел, никому не мешая, и не позволял, чтобы мешали ему. Он рабски придерживался дедовских обычаев, завещанных ему отцом, на которого был очень похож своими причудами и странностями.

В обыкновенное время ворота замка никогда не растворялись для случайного посетителя или гостя. Раз только в год, в престольный праздник замковой церкви, эти ворота были отворены для всех желающих, и тогда всякий, кто хотел, – и знатный, и простолюдин – мог идти в гости к старому графу. Для народа устраивалось угощение на дворе, а благородных гостей провожали в столовый зал к графу.

Таким образом, попасть туда Волконскому было очень легко и возможно.

VIII. Старый замок

– Да вставай, брат, вставай!.. Не то опоздаем, – будил давно умытый, причесанный и почти одетый князь Никита лежавшего еще в постели Черемзина.

– А-а-а, который час? – зевнул Черемзин.

– Скоро шесть...

Было еще половина шестого утра, но Волконский нарочно сказал больше.

– Так рано еще – успеем, – сонным голосом отозвался Черемзин и повернулся к стене.

– Ну, что мне с тобой делать? – беспокоился Никита Федорович. – Где же мы успеем? Ты одеваться будешь полтора часа по меньшей мере... Да сам ты вчера говорил, что до Освальда час езды будет, значит, приедем туда в половине девятого, а нужно быть в восемь.

– Значит, приедем в половине девятого, – согласился Черемзин, садясь на постели, потягиваясь и мигая еще слипавшимися от сна глазами. – Знаешь, князь, – вдруг, сообразил он, – мы вот что сделаем – вовсе не поедем...

Волконский только рукой махнул.

– Ведь все равно опоздали, – продолжал Черемзин.

– Да встанешь ли ты, может, и не опоздали.

– Да ведь ее не будет...

– Кого ее?

– Не знаешь? – и Черемзин лукаво прищурил правый глаз.

– Послушай, наконец... – начал было уже рассердившийся князь Никита.

– Ты погоди злиться. Я тебе приятную новость могу сообщить.

– Ну? – спросил, меняя тон, Волконский. – Да, верно, опять врешь что-нибудь.

– Нет, не вру. Вчера я положительно узнал, что Бестужева отзывают отсюда.

– Ну, что ж из этого?

– Ну, значит, он будет в немилости, лишится своего положения, может быть, состояния. Герцогиня вот уже сколько времени не принимает его, словом, Бестужев накануне падения.

– Так что ж тут приятного?

– Для Петра Михайловича, конечно, ничего, но для тебя это очень хорошо.

– Да что ты, не проснулся, верно? Что ты за вздор говоришь?

– Нет, не вздор, голубчик. Ведь ты Аграфену Петровну любишь?

Волконский молчал.

– Любишь ты ее или нет, я тебя спрашиваю?

– Ну, хорошо... Дальше что?

– А если ты ее любишь, то ни на богатство, ни на протекцию ее отца внимания не обращаешь. Значит, то, что казалось невозможным или трудным, когда Бестужев был в силе, станет просто и даже очень достойно с твоей стороны, когда он впадет в немилость...

– То есть?

– Да сватовство к Аграфене Петровне! – отрезал вдруг Черемзин и, спустив ноги с кровати, быстро стал одеваться.

На этот раз он окончил свой туалет довольно поспешно, и не было еще половины седьмого, когда они выехали верхом, быстрою рысью, за город.

Слова Черемзина всю дорогу мучили Волконского. Он не мог не сознаться, что эти слова были счастливою и чудною истиной, но, несмотря на это, для него Аграфена Петровна все-таки казалась так недостижимо прекрасна, что то счастье, о котором говорил Черемзин, представлялось неземным, нездешним и потому для простого смертного невозможным.

– Фу! Я с ума сойду! – повторял он, схватываясь за голову.

Они подъехали к замку как раз вовремя, когда только что загудел церковный колокол, и ворота отворились.

Толпа народа, ожидавшая этой минуты, повалила в ворота, пропуская вперед господских лошадей. Все торопились, потому что с последним ударом колокола ворота снова затворялись и в продолжение всего дня, до вечера, нельзя было ни войти в замок, ни выйти из него.

Узенький первый двор замка, стиснутый между двумя почти лишенными окон стенами, был вымощен плоскими квадратными камнями, между которыми пробивалась сорная трава, и казался пустынным и неприветливым. Но за вторыми – башенными – воротами открывалась широкая обсаженная деревьями и усыпанная песком площадь, где готовилось угощение для простонародья.

Обогнув эту площадь, благородные гости подъезжали к длинным ступеням главного подъезда, у дверей которого вытянулись и застыли, словно каменные, держа наотмашь свои алебарды, два латника в старинном наотмашь и блестящем на солнце вооружении.

Волконский слез с лошади и, отдав ее конюху, стал вслед за другими подыматься по лестнице в покои графа.

Знакомый теперь князю Никите митавский замок Кетлеров, где жила герцогиня со своею свитою, был почти на целое столетие старше Освальда, но имел

гораздо более современный вид, даже снаружи, не говоря уже о внутреннем убранстве. Два высоких со стрельчатыми сводами и окнами зала, которые миновали гости, имели строгий, до мельчайших подробностей, характер глубокой старины, тщательно сохраненной. Узкая галерея, с длинным рядом фамильных портретов графов Освальдов, вела в церковь, где начиналась обедня. Эта церковь, освещенная прозрачною мозаикой мелких разноцветных стекол, с открытым католическим алтарем, была невелика. Впрочем, и гостей, допущенных сюда, было немного. Впереди, в особом, обтянутом красным сукном месте, сидел сам старик граф Освальд, одетый в черный бархатный кафтан покроя шестнадцатого столетия. На плечах у него была графская мантия. Гости разместились по скамейкам: в первых рядах дамы, мужчины – позади.

Вся эта обстановка замка и граф в своем черном одеянии резали глаз непривычною важностью и по-своему были величественно красивы, но как-то уж слишком «по-своему», в особенности, в сравнении с шуршавшею своим атласом и шелком толпою гостей, в нарядах, к которым привык глаз Волконского.

Но Никита Федорович не обращал почти ни на кого и ни на что внимания, потому что та, для которой он приехал, была здесь.

Бестужев нарочно явился с дочерью в Освальд, желая показать, что его дела идут вовсе не дурно и что он совершенно спокоен и весел.

Служба была продолжительна. Сначала патер произнес длинную проповедь по-немецки, потом началась торжественная обедня при звуках органа и пения. Волконский нетерпеливо ждал окончания службы, чтобы иметь возможность подойти и заговорить с Аграфеной Петровной, но эта возможность представилась не скоро. Когда вышли из церкви, Бестужева с отцом и прочими важными людьми прошла вперед, и Никите Федоровичу неудобно было попасть в их среду; но он видел, что Аграфена Петровна, пройдя мимо него, заметила его и знала, что он здесь и любит ее, и восхищается ею. Этим сознанием он утешился.

После обедни граф, перейдя в зал, приветствовал важных гостей и здоровался с остальными, которые по очереди подходили к нему и которых, не ошибаясь, называл графу мажордом, неизвестно как и откуда уже узнавший их имена.

Представление кончилось, раздался звук рожка, и два пажа в серебряных епанчах с гербами графского дома Освальдов настезь распахнули большие дубовые двери в соседний зал, где был приготовлен стол для угощения.

Этот стол имел форму подковы и был сплошь за-

ставлен тяжелою серебряною посудой, кубками и кувшинами. Пред каждым стулом с резною высокою спинкой на столе стояли серебряные тарелки, но ни ножей, ни вилок, запрещенных в старину в католических монастырях, не лежало возле них. На середине стола и на обоих концах его, в серебряных бассейнах били небольшие фонтаны белого и красного вина. Тут же стояли затейливые сооружения из теста, украшенного разноцветною глазурью: высокий замок с башнями, дверьми и окнами, корабль с парусами и снастями, огромный павлин, распутивший свой хвост, мельница с вертящимися крыльями, увитый плющом Бахус на бочке. Белая реймская скатерть была увешана и покрыта гирляндами цветов.

– Что, хорошо? – спросил Черемзин Никиту Федоровича, усаживавшегося с ним за стол.

– Что ж, хорошо, – согласился Волконский, оглядываясь и напрасно ища салфетки и прибора. – Только как же есть?

Хотя отсутствие прибора и не особенно поразило его – сам царь Петр ел часто просто руками, – но он сделал свой вопрос, потому что Аграфена Петровна могла увидеть, как он будет пальцами пачкаться в кушанье. Однако Черемзин успокоил его, что у графа такое обыкновение, да и кушанья будут подаваться совсем особенные.

Действительно, князь Никита никогда еще не пробовал сухого винегрета из бараньих языков, приправленных разными пряностями, с которого начался обед. За этим первым блюдом следовал бесконечный ряд разных разностей: цыплята в уксусе, кабанье мясо с каштанами, телячьи сосиски, рыба сушеная и вяленая, дичь с золочеными клювами и ногами, паштеты из ласточек, артишоков, каплунов и бычьих языков, потом спаржа, сыры, засахаренные огурцы, компот из слив, наконец, торты и пироги итальянские, слоеные, на сливках и на белом вине. Волконский не только не мог все это съесть, но даже запомнить по порядку.

После каждого блюда пажи с кувшинами розовой воды обходили гостей и подавали им мыть руки.

Граф сидел все время молчаливо и неподвижно, мало ел и изредка пил что-то особенное из стоявшего пред ним человеческого черепа, обделанного в серебро в виде кубка.

– А знаешь ли, ужасная тоска! – шепнул Волконский Черемзину, на что тот лишь повел бровями, как будто говоря: «Ведь я предупреждал, что не стоило вставать так рано».

Никита Федорович даже не мог глядеть на Бестужеву – хвост стоявшего на столе пред нею павлина заслонял ее. И напрасно Волконский ждал, когда, наконец, дойдет очередь до этого павлина в ряду куша-

ний графского стола.

Этот бесконечный ряд блюд, эти кувшины розовой воды, отсутствие оживления и однообразное журчание фонтанчиков стали вдруг производить на князя Никиту самое угнетающее впечатление.

«И к чему это все?» – думал он.

В это время на середину зала вышел одетый в плащ и с арфою на плече старик с длинною седою бородой и старческим, тихим, но сохранившим свою музыкальность и певучесть голосом спросил по-немецки:

– Что будет угодно дамам, графу и его высоким гостям, чтобы спел я?

Черемзин, которому уже надоело сидеть не меньше, чем Волконскому, не предвидя от этого пения ничего хорошего, от души пожелал старику охрипнуть.

– Песню об Алонзо! – слышалось на вопрос певца.

– Кольцо! – проговорил женский голос.

И старик, почтительно склонившись в его сторону, запел песню о кольце.

Я взошла на высокую гору,
Лес шумел вдалеке под горой.
Здесь три князя ко мне выезжали
И один был из них молодой.
Он с руки снял серебряный перстень,
Свой серебряный перстень он снял

И мне отдал серебряный перстень,
И, его отдавая, сказал:
– Если спросят, откуда взяла ты,
Этот перстень откуда взяла?
Отвечай, то в лесу, под горою,
Этот перстень сегодня нашла.
– Нет, не буду я лгать, что сегодня
Этот перстень нашла под горой,
А скажу, что серебряным перстнем
Мой жених повенчался со мной.

Общую натянутость и тоску живо чувствовала и Аграфена Петровна, и для нее они были еще несноснее и неприятнее, потому что самой по себе ей было далеко не весело. Она почти не притрагивалась к кушаньям и сидела, низко опустив голову над столом, внимательно глядя на свою руку, которою слегка поглаживала скатерть.

– Ах, как хорошо, очень хорошо! – сказал сидевший рядом с нею оберрат, когда кончилось пение. – А моя дама не любит пения? – обратился он к Бестужевой.

Она подняла на него глаза. Оберрат, очевидно, недаром наполнял часто свой кубок во время обеда. Его нос и щеки были красны, и глаза подернулись влагой.

«Противно смотреть», – подумала про него Аграфена Петровна и, ничего не ответив оберрату, снова

опустила голову. «Господи, когда же будет этому конец?» – мысленно повторяла она.

Старик еще что-то пел, но Бестужева его уже не слушала, всецело охваченная своими грустными, тяжелыми мыслями.

От этих мыслей ее как бы разбудили вдруг резкие звуки роговой музыки, должно быть, раздавшиеся после пения старика. Она огляделась и увидела, что из-за стола вставали, с шумом отодвигая тяжелые стулья.

Сырой воздух зала давно отяжелел от запаха вина, кушаний, розовой воды и приторно-ароматного чада четырех высоких курильниц, дымивших все время в углах. Истомленная долгим сидением и скукой Аграфена Петровна чувствовала, что просто нечем дышать, что она не может дольше оставаться здесь. Она, бледная, едва добралась до дверей и, выйдя из зала, попала в какую-то многоугольную, с низким потолком, комнату, заставленную шкафами с книгами.

«Библиотека», – догадалась Аграфена Петровна и пошла дальше, потому что здесь низкий потолок давил ее.

Она увидела в стене маленькую дверь, за которой сейчас начиналась узкая лесенка наверх, и стала подниматься по ней. Куда она шла – ей было решительно все равно, но ей хотелось куда-нибудь, лишь

бы вздохнуть свободно, одной. Лестница освещалась маленькими окнами и вела, очевидно, наверх одной из башен замка.

Бестужева несколько раз останавливалась, тяжело дыша и прикладывая руку к сильно бившемуся сердцу, как бы желая остановить его, и потом опять шла кверху, боясь поскользнуться на каменных, старых ступенях.

Наконец, она вышла на свежий воздух, на вершину высокой башни, окруженную толстыми, неуклюжими зубцами, которые снизу казались удивительно легкими и маленькими. Поднявшись, она с наслаждением порывисто вздохнула и опустилась в прогалине между двух зубцов, на грубый камень, тепло согретый солнечными лучами. Она чувствовала, что голова у нее кружится, и боялась некоторое время смотреть вниз, чтобы не упасть, но потом провела руками по лицу и, приходя в себя, невольно стала любоваться необычную картину открывшегося пред нею вида.

Внизу, у самых стен замка, слегка покачивался своими верхушками лес, точно двигавшаяся бородавчатая, покрытая щетиной, спина неведомого зверя; за лесом расстилалось поле с серебряною лентою реки, а там, далеко, сплошною пестрою полоской виднелась в тумане Митава. Мост замка был поднят, и глубокий черный ров правильным кольцом опоясывал со

всех сторон замок.

«Выхода нет!» – подумала Аграфена Петровна.

Этот крепкий каменный непобедимый, заполонивший ее на сегодня, замок с удивительной ясностью напомнил ей ее положение. Она кругом и вполне зависела от отца. Отец был раздражен беспокойством о своих служебных делах; он мог еще больше рассердиться, и вот она ничего не в силах сделать, она связана по рукам и ногам. Что ж она такое?... Бедная, ничего сама по себе не значащая дочь важной до поры до времени персоны в Митаве. Но сама по себе она – пока ничто, решительно ничто!..

А между тем эта высота, на которой сидела теперь Аграфена Петровна, и открывшаяся пред нею, точно подвластная ей ширь, говорили ей, что душе ее родственна и близка прелесть независимости, власти и значения и что, раз она может понимать это, значит, должна достичь.

«Но ведь выхода нет, – повторила она себе. – А он должен быть».

«Отвечай, что в лесу под горою
Этот перстень сегодня нашла!» –

вспомнила вдруг Аграфена Петровна и, прислушиваясь, наклонила голову.

По лестнице поднимались шаги. Кто-то шел к ней.

«Да, серебряный перстень, – продолжала она думать. – Но кто же это будет?»

Шаги были совсем уже близко. Еще секунда – и на площадку башни вошел Волконский. Он сейчас же заметил внизу исчезновение Аграфены Петровны и невольно стал искать ее.

– Насилу-то!.. – проговорил Никита Федорович, с трудом переводя дух от ходьбы по лестнице.

Бестужева не глядела на него.

Как ни странно это было, но ей казалось теперь, что именно князь Никита должен был прийти в эту минуту и что он должен был искать именно ее.

– Господи, я измучился, истомился без вас, – заговорил Волконский, сам удивляясь своим словам и их смелости, – такая тоска тут... Да и везде без вас тоска, – вдруг сказал он.

– Вы знаете старую сказку о спящей принцессе? – спросила Аграфена Петровна – Помните, как она проснулась в замке, который сто лет спал вместе с нею? Знаете, мы точно попали на это пробуждение. Этот замок словно проснулся сейчас, заснув несколько десятков лет тому назад, – до того здесь все по-старинному... Только принцессы нет, пожалуй...

Никита Федорович смотрел на нее счастливыми, блестящими глазами.

– А вы? Вы... Аграфена Петровна?... Господи! Я с ума сойду! – повторил он с утра преследовавшие его слова.

И он, и она знали, что сейчас, сию минуту, должно выясниться то, зачем их свела судьба случайно, как сначала казалось, и выясниться это должно теперь или никогда.

Князь Никита сделал несколько шагов к девушке и подошел совсем близко. Зачем он сделал это – он не помнил и не понимал, потому что ничего не мог теперь помнить и понимать. Она также бессознательно двинулась к нему и, почувствовав его близость, любовь, смущение и радость, вдруг просветлела вся, и ей стало ясно, что она любит этого человека, верит ему и что с ним приходит к ней новая жизнь, свободная и прекрасная. Она ничего не могла сказать ему, но руки ее поднялись послушно и доверчиво и бессильно упали на плечи князя.

– Моя!.. моя! – прошептал Никита Федорович, прижимая ее к своей груди.

В это время на лестнице опять раздались чьи-то шаги, и Аграфена Петровна пугливо отстранилась.

На башню вошли несколько гостей, пожелавших осмотреть замок. Волконский и Бестужева стояли вдали друг от друга и внимательно, как казалось, разглядывали Митаву, споря о том, какая это церковь

видна справа. Один из пришедших постарался объяснить им и сам заспорил.

IX. Счастли́вый день

Наступил август месяц, а положение Бестужева в Митаве нисколько не выяснилось.

Герцогиня жила в Вирцау и не виделась с ним. Из Петербурга не было никаких известий.

Петр Михайлович сидел у себя в кабинете, в утреннем шлафроке. Был восьмой час утра. Он только что встал. Поместившись поудобнее в кресле у письменного стола, Бестужев задумчиво смотрел на строки письма, привезенного оказией еще вчера вечером и давно уже прочитанного. Письмо было из Ганновера, от сына Алексея, который, получив от сестры известие о замеченной ею в отце перемене, сейчас же сел сочинять к нему длинное, на немецком языке послание, строго придерживаясь изученных в берлинской академии стилистических правил. Замысловатые, вычурные фразы письма составляли целый философский трактат о том, что женщина может выбирать себе мужа по сердцу. Алексей Петрович ни словом не обмолвился, что речь идет об Аграфене Петровне и об отношениях к ней отца. Но тот сейчас же понял, в чем дело.

Горячий, как казалось, великолепный стиль письма нравился ему. Он с горделиво-самодовольной оте-

ческой улыбкой перечитывал письмо и несколько раз подумал о том, что сыну его предстоят, вероятно, в будущем большие успехи.

Письмо освежило Бестужева, дало ему новую нить мыслей и окончательно побороло проснувшееся старомосковское чувство отеческой власти. Петр Михайлович сознался сам пред собою, что готов был повернуть назад с того пути, по которому шел до сих пор неуклонно.

Начав думать в этом направлении, он все более и более убеждался в своей неправоте, наконец, вдруг поспешно встал с кресла и с добродушной усмешкой направился на половину дочери.

Аграфена Петровна рассеянно слушала неумолчную болтовню Розы, когда в дверь раздался легкий стук.

– Войдите! – ответила она.

Дверь отворилась, и на пороге показался Бестужев, как он был в шлафроке, колпаке и туфлях.

– Ach, Gott²! – воскликнула Роза, притворяясь сконфуженною.

Петр Михайлович, не заметив горничной, прямо пошел к дочери и поцеловал ее в лоб.

Та сделала знак Розе, что она может выйти, и удивленно взглянула на отца, на письмо, которое он все

² Ах, Боже! (нем.)

еще держал в руках, и постаралась разгадать, почему явилась в нем снова прежняя ласковость, исчезнувшая со дня истории с желтой гостиной.

«Верно, из Петербурга хорошие вести», – догадалась она.

– Я получил письмо от Алексея, – заговорил Петр Михайлович. – Славно он пишет...

Аграфена Петровна вдруг густо покраснела. Она тоже вчера получила от брата письмо в ответ на свое и знала теперь, о чем он мог писать отцу.

Петр Михайлович ласково смотрел прямо в глаза дочери, точно старался заглянуть в самую ее душу.

– Ты вот что, – начал он, – я был вот тут все расстроен, беспокоился и говорил тебе... – Бестужев замялся. – Так это ты забудь, – добавил он вдруг.

– О чем забыть, батюшка?

– Ну, там... я тебя, словом, неволить не стану... Если захочешь замуж... так выбери жениха – я благословлю...

Аграфена Петровна, чувствуя, что краска не сбежала еще с ее лица, опустила голову, напрасно стараясь овладеть собою. Она понимала, что отец сам не выдержал долгой своей строгости к ней и что письмо Алексея Петровича было скорее предлогом, чем внешнею причиной того, что эта строгость была заменена прежнею милостью.

– Я еще не собираюсь замуж... мне и у вас хорошо, – сказала она.

– Не ври!.. Зачем врать?... Ты думаешь, я не вижу... князя Никиту-то... не вижу? а?

Аграфена Петровна не могла сдержать своего волнения.

– Ах, батюшка, не надо, не надо об этом! – заговорила она, не имея силы побороть себя.

Какие-то глупые, ненужные, но счастливые слезы подступали ей к горлу.

– Да ведь что ж... когда-нибудь нужно будет все равно – зачем тянуть понапрасну?... Ведь он любит тебя, – ну, и Христос с вами!..

Аграфене Петровне, несмотря на все ее смущение, захотелось вдруг, чтобы отец сейчас же подтвердил, что Волконский любит ее, чтобы он представил ей доказательства этого, чтобы он успокоил ее, как будто она и в самом деле не знала и сомневалась, что Никита Федорович любит ее больше жизни. Она потребовала этого от отца не словами, не вопросом, но только взглядом своих влажных блестящих глаз. И Петр Михайлович понял этот взгляд.

– Ну, да... сам молод был... и сам был такой, как твой Волконский, – прошептал он, стараясь незаметно провести рукою по глазам.

– Батюшка, что с вами? Слезы у вас?... – заговори-

ла Аграфена Петровна, обнимая отца и пряча у него на груди свое лицо. – Полноте, батюшка!..

Она привыкла видеть его всегда ровным, спокойным, скорее суровым, думала, что изучала характер его и знала, как обращаться и говорить с ним, но никогда не ожидала, чтобы у него, у ее старика отца, показались слезы на глазах и что он *так* любил ее.

Подбородок ее сильно дрожал, дыхание сделалось чаще, и она, крепко прижавшись к отцу, заплакала, как ребенок, согретый наконец такую ласкою, по которой давно тосковала душа его.

Успокоив дочь, и сам Петр Михайлович вышел от нее успокоенный и веселый. Камердинер давно уже ожидал его с платьем, удивляясь, почему нынче так долго барин не идет одеваться.

– Что, заждался? – спросил его Бестужев – Ну, давай скорей, и без того поздно!

Петр Михайлович ощущал теперь в себе особенную легкость, точно гора свалилась у него с плеч, и мысленно почему-то несколько раз повторил себе: «Ну, теперь, кажется, все будет хорошо». Беспочинно он чувствовал, что совсем успокоился, и, к своему удивлению, вскоре увидел, что это чувство явилось у него недаром.

Из замка приехал Черемзин с известием, что герцогиня вернулась в Митаву и сегодня же сама наве-

стит Петра Михайловича. Это был неожиданный для Бестужева и самый блестящий исход всех его беспокойств и неприятностей.

Анна Иоанновна действительно приехала, как сказал Черемзин. Бестужев встретил ее у крыльца. Она вышла из кареты, молча направилась по лестнице и также молча прошла вплоть до самого кабинета Петра Михайловича.

Бестужев почтительно следовал за нею, стараясь ничем не показать своего торжества, которое тем не менее так и светилось в его глазах.

Герцогиня казалась несколько бледною, пригнула голову и смотрела в пол. Войдя в кабинет, она опустилась в кресло, тяжело дыша.

Бестужев постоял пред нею и, видя, что она, должно быть, ждет, когда он сядет, чтобы начать разговор, тоже сел и всем существом своим постарался выразить, что готов внимательно слушать то, о чем ему будут говорить.

Герцогиня все молчала, поправляясь в кресле и, очевидно, не зная, с чего начать. Положение казалось неловким, но Петр Михайлович терпеливо ждал, не желая помочь Анне Иоанновне.

– Петр Михайлович, – заговорила она наконец, – ты меня знаешь... я всегда была расположена к тебе...

Бестужев наклонился.

– Ну, так вот, Петр Михайлович, как ты думаешь, сладка моя жизнь здесь или нет?

– Ваша светлость... – начал было он.

– Нет, ты прямо ответь – сладка моя жизнь? Молчишь – ну, конечно, сказать тут нечего... Я сердилась на тебя; так вот, видишь ли, ты не сердись на меня за это...

Она говорила отрывисто, с трудом подбирая слова и повторяя их, хотя заранее обдумала все, что скажет и как именно скажет, но теперь перезабыла все придуманное и не знала, как ей быть.

– Конечно, я теперь вижу, что ты – человек хороший, – снова заговорила она, – и разумный, и все такое... и зла мне не пожелаешь, – промолвила она, хотя это было опять вовсе не то, но она продолжала; – Я никогда тебе дурного не желала... Ну, там была, что ли, размолвка, но это – дело прошлое...

Анна Иоанновна остановилась. Она решительно не знала, что ей еще сказать.

– Да в чем дело, ваша светлость? Что такое? – спросил наконец Бестужев.

– В чем дело?... Эх, да что тут! Уж если говорить, так говорить... Из Петербурга я получила указ.

Уезжая из дома она была твердо уверена, что ни за что не проговорится об этом указе, но тут вдруг, к крайнему своему удивлению, именно с него-то и на-

чала.

«Верно, так уж тому и быть должно», – решила она.

– Ох, беда моя, не умею я тонкие дела вести!.. ты, Петр Михайлович, цени мою откровенность...

– Какой же это указ? – опять спросил Бестужев.

– Ну, да вот он, возьми, что ж, я уж скрываться не буду!.. – и Анна Иоанновна, желая победить гофмаршала своею доверчивостью, протянула ему бумагу.

Бестужев почтительно принял ее и не спеша стал просматривать.

Указ был дан, по поручению царя, от государыни Екатерины на имя царицы Прасковьи, матери Анны Иоанновны, и гласил:

«Петр Бестужев отправлен в Курляндию не для того токмо, чтоб ему находиться при дворе герцогини, но для других многих его царского величества нужнейших дел, которые гораздо того нужнее, и ежели его из Курляндии отлучить для одного только вашего дела, то другие все дела станут, и то его величеству зело будет противно...»

«Ну, я говорил, что сегодня все будет хорошо – так оно и есть, – подумал Бестужев. – А все оттого, что с дочерью поступил сегодня как следовало».

Похвала и доверие, выраженные в указе, были, разумеется, ему приятнее всего остального.

– Так видишь ли, Петр Михайлович, – продолжала

герцогиня, – я вот и рассуждаю, что ты – человек хороший, и государю здесь нужный – значит, мы с тобой будем лучше жить в мире... Что ж ссориться?... Я ссор терпеть не могу...

И долго еще Анна Иоанновна говорила Бестужеву о своей всегдашней приязни к нему и откровенности, но он делал только вид, что слушает ее внимательно, а на самом деле милостивые слова указа не выходили у него из головы и мешали ему понимать и слушать.

Черемзин, предупредив Петра Михайловича, по поручению герцогини, об ее посещении, не сейчас уехал из дома Бестужева, но спустился вниз, в его канцелярию, где давно был своим человеком. Он направился прямо, без доклада, в комнату к самому секретарю, однако тот встретил его не особенно дружелюбно. Секретарь не любил Черемзина за его постоянные шутки, оскорблявшие достоинство чиновного звания.

– Что, пан Щебрыца-Рыбчицкий, все пишете? Вы бы погулять сходили, пока тепло на дворе, – заговорил Черемзин, садясь без стеснения.

Секретарь действительно носил фамилию «Щебрыца-Рыбчицкий» и был польского происхождения; но это происхождение было так отдаленно, что он считал себя русским и морщился, когда его называли «паном». Кроме того, Черемзин всегда с таким трудом выговаривал его фамилию, что это тоже было очень

неприятно.

– Истинно всем бы сердцем рад погулять, да натуральная невозможность не позволяет, – ответил секретарь, стараясь говорить как можно важнее и, откинувшись на спинку кресла, склонил набок свое бритое, пухлое лицо.

Черемзин, прищурясь, смотрел на него.

– Что же, все дела задерживают?

– Дела всеконечно... С чем к нам изволили пожаловать из замка? – спросил со вздохом секретарь, видимо, желая поставить разговор на серьезную почву.

– С известием.

Рыбчицкий поднял брови и замер, не донеся до носа щепотки табака, которую только что взял, топыря пальцы, из своей золотой табакерки.

Черемзин поспешно достал из кармана тоже табакерку и, растопыбив пальцы, в свою очередь застыл в точно такой же, как секретарь, позе.

Рыбчицкий недовольно дернул рукою, втянул носом табак и чихнул.

– Будьте здоровы! – сказал Черемзин.

– Благодарствен, – резко ответил секретарь: казалось, он обиделся.

Но Черемзин, как бы не замечая этого, стал рассказывать о возвратившейся из Вирцау герцогине. Лицо Рыбчицкого прояснилось. Новость была для него

очень интересна. Однако посредине рассказа Черемзин вдруг быстро взглянул в окно, выходящее в сад. Там мелькнуло голубое платье камеристки Аграфены Петровны.

– Пан Щебрыца-Рыбчицкий, вы видите? – торжественно произнес он, указывая в сад.

Секретарь взглянул в окно.

– Пойдемте в сад! – предложил Черемзин.

– На такие дела не гораздо я сведом, – возразил Рыбчицкий. – Так вы говорите, что герцогиня...

Но Черемзин уже не ответил ему. Он преспокойно сел на какие-то бумаги на подоконнике, перекинул за окно ноги и, спрыгнув в сад, скрылся в густой зелени. Пан Рыбчицкий сердито хлопнул окном ему вслед.

Черемзин скоро нагнал Розу: он не брезгал никакою «авантюрой».

Роза встретила его, как знакомого, сказав:

– А я знала, что господин еще не уехал.

– И нарочно вышли в сад?

– Да, у меня есть к вам дело.

– Вот как! Серьезное? – спросил Черемзин, садясь на деревянную скамейку. – Ну, говорите! Здесь нас не увидят и не услышат...

– Не так еще скоро... Мне нужно знать, что мне за это будет?

– Поцелуй.

– Я с вами хочу говорить серьезно, а так не буду, – обиделась Роза. – Вы мне должны сделать подарок...

– Так это – серьезное дело, по-вашему? Ну, какой же это подарок?

– Розовую косынку, шелковую... а затем – будет дело...

– Роза! шерстяной довольно! – с пафосом произнес Черемзин, прикладывая руку к сердцу.

– Нет, и шелковой мало. Ведь вы – друг князю... князю, – и она по-своему, по-немецки, перековеркала фамилию Волконского.

Черемзин недоверчиво взглянул на нее и сказал уже серьезным голосом:

– Если то, что вы скажете мне, будет очень важно, Роза, то вы получите две косынки и платье... Говорите!

– Это правильно, – согласилась Роза и начала подробно рассказывать все, что происходило сегодня утром в уборной ее госпожи, когда пришел туда Петр Михайлович.

Черемзин внимательно слушал и несколько раз переспрашивал.

– Значит, он так и сказал: «Выбирай себе кого хочешь... я благословлю»?

– Так и сказал, – подтвердила Роза.

– Ну, так знаете ли что, Роза, ступайте теперь в дом,

там должна теперь быть герцогиня, и, как только она уедет, придите мне сказать.

Едва герцогиня уехала, Черемзин велел доложить о себе, и Петр Михайлович сейчас же принял его.

Черемзин вошел к Бестужеву своею особенною походкой вперевалку, с которою танцевал польский, и церемонно, по правилам французских танцмейстеров, проделал фигуру изысканного поклона. Он был чрезвычайно серьезен и важен.

– Чем могу служить? – обратился к нему Петр Михайлович, указывая на кресло.

Черемзин поклонился еще раз и сел.

– Петр Михайлович, – начал он, – я являюсь к вам не по собственному, но тем не менее очень важному делу...

«Все дела станут и то его величеству зело будет противно», – вспомнились Бестужеву еще раз слова указа.

– Какое же это дело? – улыбаясь, спросил он.

– Я являюсь к вам, Петр Михайлович, сватом от лица моего друга, князя Никиты Федоровича Волконского... Он любит вашу дочь Аграфену Петровну и от вас, разумеется, зависит его счастье...

Бестужев долго не отвечал. Он сидел молча, как бы обдумывая, точно услышал в первый раз о Волконском.

Черемзин знал, что приличие не позволяет Петру Михайловичу сразу согласиться на предложение, но из рассказа Розы он знал также, что отказа не будет, и потому ждал с серьезностью и терпением.

– Благодарю князя Никиту за честь, – заговорил наконец Бестужев, – но Аграфена еще молода и ей хорошо и при отце...

– Ваша воля, – согласился Черемзин.

– Конечно, я не стану неволить дочь, и если она будет согласна... Я подумаю, поговорю... Да и князь Никита молод...

– Молодость – не порок в таком деле, как любовь, – ответил Черемзин.

– Конечно, но все-таки мне, как отцу, нужна осмотрительность. Прошу вас и князя Никиту пожаловать ко мне сегодня к ужину.

– Почтем сие приятнейшим долгом, – заявил с новым поклоном Черемзин, окончательно входя в роль свата.

Он не сговаривался с Волконским о сватовстве. Мысль пойти к Бестужеву и просить для князя Никиты руку его дочери родилась у него совершенно внезапно во время разговора с Розою. Он видел, что его приятель без ума влюблен в Аграфену Петровну, что она, со своей стороны, более чем благосклонна к нему, и, узнав о разговоре Петра Михайловича

с дочерью, решил, что нельзя упускать сегодняшний день, во всех отношениях благоприятный для сватовства. Бестужев после посещения герцогини не мог отказать. Этот расчет оказался совершенно верным.

Слома голову летел Черемзин в своей одноколке в замок, погоняя кучера, чтобы скорее обрадовать ничего не знавшего и не ожидавшего Волконского. Он желал поразить его неожиданною радостью. Но оказалось, что князь Никита сам поразил его, Черемзина, такую неожиданностью, что тот развел лишь руками. Черемзина встретил в замке слуга Волконского Лаврентий, встревоженный и растерянный.

– Где князь? Что случилось? – беспокойно спросил Черемзин.

– Князь наш, – Лаврентий покачал головою, – я уже давно собирался доложить вам... с тех самых пор, как вы их к немцу старому в гости с утра возили – вот из черепа, прости Господи, пьет... с тех пор я стал замечать неладное...

– Да теперь-то что с князем? – нетерпеливо перебил Черемзин.

Но обстоятельный Лаврентий, по привычке рассказывать всегда все по порядку, продолжал, не торопясь:

– Как съездил князь туда, так совсем голову потерял. Я сколько раз докладывал ему: «Хоть и много ты,

князь, книжек читаешь, а все меня бы послушал. Опоили его там, должно быть. По ночам спать совсем перестал... есть-пить не хочет и все сам с собою разговаривает. Вот вы уедете, а он останется один и разговаривает... Вам не видно, а я-то смотрю...» И так до сегодняшнего дня все больше и больше. А сегодня, как вы уехали в город, князь призвал меня и говорит: «Лаврентий, собери все мои вещи и с ними поезжай на лошадях за мною, а я сейчас верхом уеду. Где меня нагонишь, там и хорошо, а я больше так жить не могу». И не велел вам об этом сказывать. «Напишу», – говорит, и уехал.

– Уехал? – воскликнул Черемзин. – Уехал верхом и не вернется?... Да что ж это?!

– Говорю вам, опоили его, – серьезно повторил Лаврентий.

– Лошадь мне! – крикнул Черемзин. – Лошадь! Авось нагоню!

И он сам побежал на конюшню торопить конюха.

Х. А день все-таки счастливый

Черемзин отлично знал окрестности Митавы и давно привык к разбросанным в полях и лугах отдельным крестьянским домикам, не соединенным, как в России, в деревни и села, но построенным вдали друг от друга. Эти чистенькие выбеленные дворы мелькали красивыми пятнами в зелени лугов, оживляя вид и придавая ему непривычную для русского глаза особенность.

Черемзин без усталости летел от одного двора к другому, спрашивал и разузнавал, не видел ли кто-нибудь Волконского, и подробно описывал его приметы. Наконец, ему удалось напасть на след князя Никиты. Ему объяснили, что какой-то благородный господин верхом действительно проезжал здесь сегодня по направлению замка Освальд.

Черемзин без дороги прямо по полю направился к замку, и поиски его не оказались напрасными. Там, у опушки леса, сидел на пригорке Волконский, задумчиво смотря вдаль. Лошадь князя паслась тут же, не привязанная. Князь Никита сидел с застывшей, блаженной улыбкой на губах и счастливыми, ясными глазами смотрел перед собою на убранные поля и скошенные луга с их беленькими домиками и прислуши-

вался к шепоту листьев шелестевшего сзади него леса, еще не тронутого дыханием приближавшейся осени.

«Все они такие – влюбленные», – подумал Черемзин. – Князь Никита, а, князь Никита! – окликнул он. – Будет, брат, довольно, домой ехать пора!

Никита Федорович спокойно перевел взор на Черемзина. Ему казалось, что он видел, как подъехал Черемзин, и он не обратил никакого на это внимания.

– Это – ты? – спокойно спросил он.

– Ну да, я, – ответил Черемзин, слезая с лошади.

– Черемзин, ты любил когда-нибудь? – вдруг спросил князь Никита.

– И много раз... Что ж из этого?

– Помнишь, ты мне как-то говорил, что стоит только наблюдать – и много можно найти интересного вокруг себя.

– Не помню.

– Ты посмотри, вот видишь там это дерево?

– Вижу! – сказал Черемзин, не поворачивая головы.

– Ну, вот что я думаю. Вот я живу здесь, на земле, и проживу еще, может быть, ну, пятьдесят лет... Это – самое большее... И в каждую минуту этой жизни, стоит мне лишь захотеть, и я это дерево могу срубить, уничтожить... А может и так случиться, что это дерево, которое вот теперь совсем в моей власти и кото-

рое ничего, понимаешь, ничего не может мне сделать, переживет меня на сотни лет... и мои правнуки могут увидеть его, да, пожалуй, и праправнуков переживет... И выходит, что я ничтожнее дерева.

– На чем тебя и поздравляю, – вставил Черемзин.

– Ну, а на самом деле это вовсе не так, – продолжал Волконский, – потому что я могу любить... и люблю... и в этом – все, а остальное – вздор, и дерево – вздор... И, раз я могу любить, значит, не умру, потому что дух, которым я чувствую свою любовь, не погибнет, не может умереть, а в этом – весь я... суть-то моя в этом духе... Ты понимаешь меня?

– Все это хорошо, – заговорил Черемзин, приподнимаясь на локоть, – но скажи, пожалуйста, с чего ты вздумал удирать из Митавы? Кто тебя погнал оттуда?

– Кто погнал?... Я сам уехал.

– И не вернешься?

– Не вернусь.

– Отчего ж это?

– Так... не вернусь.

– Знаешь, – начал Черемзин, качая головой, – я много видал вашей братьи, влюбленных, но такого, как ты, еще не встречал... Это уж что-то совсем знатное чудачество. Ты мне прямо отвечай: раздумал, что ли, жениться на Аграфене Петровне?

Князь Никита не отвечал.

– Да говори же, наконец! – крикнул Черемзин.

Волконский грустно, но с тою улыбкою, с какою обращаются к детям, говорящим неразумные вещи, посмотрел на него и вздохнул.

– Этого не может быть... это невозможно, – проговорил он, как будто дело было уже решено бесповоротно.

– Да отчего? Отчего? – настаивал Черемзин.

– Оттого, что это было бы слишком большое, не человеческое счастье, не здешнее, не земное!.. Это вот когда дерево переживет меня...

Поняв наконец, что князь Никита обратился в бегство единственно вследствие решения, что счастье было бы слишком велико и потому невозможно, Черемзин посмотрел на него и разразился веселым, неудержимым смехом.

Волконский глядел на него удивленно-испуганно, не понимая, что можно было найти смешного в таком глубоком и серьезном для него деле. Наконец, никто не имел права смеяться над ним и над его чувством. Очевидно, Черемзин, не перестававший хохотать, раскачиваясь всем корпусом, позволял себе слишком многое.

– Да что ж это ты? – крикнул в свою очередь князь Никита, – обезумел, что ли? Наконец это просто обидно... Как ты смеешь смеяться?

– Постой... не сердись! – сдерживаясь, старался выговорить Черемзин – Сейчас заговоришь другое... Слушай!.. Я сегодня был у Петра Михайловича сватом от тебя...

– Что-о! Ты, сватом, от меня, у Петра... Петра... – Волконский вскочил, схватясь за голову руками. – Да кто тебя просил?... Как же ты смел!.. Что же ты наделал?... а-а-а?...

Он казался в эту минуту таким испуганным, несчастным, что Черемзин невольно испугался, взглянув на его побледневшее, внезапно осунувшееся лицо.

– Да нет же, – подхватил он, – не отказал: Петр Михайлович позвал нас ужинать... сегодня на ужин позвал!.. Понимаешь?

Волконский несколько секунд стоял без движения, точно слова друга не сразу долетели до него. Потом он вздрогнул всем телом, отнял руки от головы и как-то растерянно смотрел на Черемзина.

– Что ты говоришь?... сватом... позвал... на ужин?... и это – правда?

– Правда, правда, – твердил Черемзин.

– Голубчик! – вдруг вырвалось у князя Никиты, и он кинулся на шею Черемзина. – Так что ж ты мне не скажешь до сих пор всего толком? – воскликнул он, отскакивая от Черемзина – Что ж ты молчишь до сих пор?

Ведь мы опоздаем, опоздаем!.. Господи, да беги же, торопись, а то поздно будет!

И он бежал уже к своей лошади, спотыкаясь и задевая за кочки.

Черемзин медленно, как бы любуясь доставленной им другому человеку радостью, следовал за ним.

Несмотря на неодолимое желание узнать от Черемзина подробнее обстоятельства сватовства, Волконский не расспрашивал его дорогою, единственно заботясь о том, чтобы не опоздать. Он все еще боялся верить в возможность своего счастья и гнал лошадь так, что Черемзин едва поспевал.

В одноколке, по дороге из замка в город, Черемзин рассказал все Никите Федоровичу.

У Бестужева оказался парадный званый ужин. Вся митавская знать была приглашена и явилась как один человек, потому что весть о внезапном посещении герцогини, которая, очевидно, приезжала мириться с Бестужевым, быстро, разнеслась по городу. Все думали, что Петр Михайлович своим ужином желает отпраздновать торжество своей победы над Анной Иоанновной.

Среди этих знатных почетных чиновников и частных, но родовитых немецких персон оказалось только двое молодых людей: Черемзин и Волконский. С их появлением общее внимание было обращено на них.

Гости стали перешептываться и высказывать свои соображения.

Волконский положительно не помнил, как он вошел, как здоровался, и не соображал даже, ходит ли он или сидит; ему все казалось, точно он приподнят на воздух и его носят какие-то невидимые, нежные руки. Аграфена Петровна встретила его с приветливою, радостною улыбкой.

«Знает она или не знает? – спросил себя князь Никита, целуя ее руку. – Наверно, знает», – решил он, чувствуя, как похолодела и дрожит ее рука...

Черемзин заговорил что-то, как ни в чем не бывало, будто не произошло ничего особенного. Волконский смотрел вокруг себя, широко и блаженно улыбаясь; но куда бы он ни смотрел, отовсюду ему была видна его Аграфена Петровна, милая и любимая. Она тоже будто слушала Черемзина, но князь Никита знал, что она также видит только его и думает о нем, и все кругом получало для него новую красоту и прелесть.

Большая гостиная Бестужева, та самая, где так еще недавно князь Никита стоял затерянным в толпе пред черным доктором, казалась теперь совсем иною. Никите Федоровичу ясно вспомнился этот вечер.

«Выше всех людей!» – прозвучали в его ушах слова доктора.

За ужином Волконский сидел рядом с молодою хо-

зьякою. Ужин тянулся долго, но ему казалось, что время летит так быстро, что он просто не успеет наглядеться на свою радость, ангела, счастье, как он мысленно называл Аграфену Петровну, не находя достаточно ласковых слов.

В конце ужина в хрустальные бокалы налили французское шипучее вино, и Петр Михайлович, высоко подняв бокал, крикнул:

– За здоровье царя Петра!

Гости встали и тотчас начали подходить к хозяину, чокаясь с ним. Заиграла музыка, и раздались приветственные клики.

– Уррааа! – кричал Волконский.

– За здоровье хозяина! – провозгласил старший оберрат.

– Урр-ра! – подхватил Волконский. – Ваше, ваше здоровье! – подошел он к Аграфене Петровне и залпом допил вино. – Видите, до последней капли, – сказал он, опрокидывая бокал и показывая, что там действительно нет ни капли.

У Аграфены Петровны вино было на донышке.

– И я за вас последнюю капельку; видите? – проговорила она, осушая бокал.

«Я... за вас... последнюю капельку... Господи! Я с ума сойду!» – радовался князь Никита.

К ним подошел Черемзин и хотел чокнуться с ними.

Петр Михайлович во время ужина изредка поглядывал на дочь и на Волконского, и каждый раз взгляд его становился серьезен и даже строг.

Черемзин ждал от него ответа, но Бестужев медлил.

«Когда же наконец он поздравит жениха с невестой?» – думал Черемзин.

Однако ужин кончился, и гости, встав из-за стола, перешли в гостиную, но вопрос Черемзина оставался не разрешенным.

После ужина случилось как-то само собою, что Волконский остался один с Аграфеной Петровной в ее маленькой гостиной; они незаметно прошли туда и за ними никто не последовал, точно понимая, что нельзя мешать их радости.

Впрочем, теперь развеселившиеся вином гости, сплоченные общим за ужином разговором о политических новостях дня и увлеченные затем интересом этих новостей, занялись сами собою, так что большинство из них не заметило исчезновения Бестужевой. О Никите Федоровиче тоже забыли эти солидные, не подходившие к нему ни по возрасту, ни по положению, люди.

– Помните, – сказал Волконский Аграфене Петровне, – тот вечер у вас, когда мне, затерянному, неизвестному и не замеченному вами, было предсказано,

что я буду выше всех людей?

Бестужева взглядом и улыбкою отвечала, что помнит.

– У меня вот так и стоит пред глазами этот черный доктор... Может быть, сегодня окажется, что он был прав.

– Вы получаете назначение... вас заметили из Петербурга? – спросила, более прежнего оживляясь, Аграфена Петровна.

– Нет, дело не в том; разве вы не знаете, что Черемзин приезжал сватом от меня к Петру Михайловичу, вашему батюшке?

– Когда? – спросила Бестужева, меняясь в лице.

– Сегодня, и он нас позвал к ужину, и, может быть, сегодня решится моя судьба, и я буду выше всех людей – буду иметь право назвать вас своею пред ними.

Аграфена Петровна смущенно и стыдливо опустила голову. Сияющая улыбка исчезла с ее губ, над бровями появилась строгая, серьезная складка; казалось, вот-вот слезы брызнут из ее глаз. Она до сих пор не знала, что произошло утром.

– Что ж? Не рады? Плачете? – беспокойно произнес Волконский, смущаясь в свою очередь.

Она подняла на него взор, и ее глаза были так ясны, так радостны, так много было в них счастья для Никиты Федоровича, что он снова преобразился, теряя

рассудок и соображение. Аграфена Петровна протянула ему руки; он стал целовать их.

– Не думайте, однако, – прошептала она, – что предсказание сбылось сегодня, нет! Пусть я буду ваша, но вы, если любите, должны быть в самом деле на высокой ступени. У вас есть возможность; старайтесь, добивайтесь и добьетесь! Мы будем вместе добиваться: нам нужно далеко пойти – я этого требую... я так хочу... Я не могу и не должна остаться в неизвестности бюргерской жены, мой муж станет не в уровень с остальными.

Все, что она говорила теперь, казалось Никите Федоровичу прекрасным, и при каждом слове ее он только улыбался, видимо, соглашаясь со всем. Она верила в него, она любила его и радовалась его ласке.

– Посмотрите, каими складками легла эта занавеска, точно сборки на платье! – сказала вдруг Аграфена Петровна, показывая на желтую шелковую занавеску у окна.

– Ну, что ж такое? – ответил Волконский, не понимая, что хотела она сказать.

– Герцогиня была в таком же платье, – пояснила Бестужева, – тогда, у нас на балу...

Она замолчала и задумалась.

Волконский улыбнулся, вспоминая этот бал, но Аграфена Петровна казалась серьезною.

– Ведь и ей было предсказание, – продолжала она в раздумье, – и если оно сбудется, то она не простит... Она отомстит нам...

– Ну, что загадывать о будущем, когда все теперь так хорошо и ясно! – перебил ее князь Никита.

Петр Михайлович, разумеется, давно заметил, что его дочь сидит с Волконским у себя в гостиной, но не мешал им, как будто занятый участием в общем разговоре и всецело, как радушный хозяин, поглощенный своими гостями. Однако не спускавший с него глаз Черемзин видел, как он посматривал на опущенные занавесы желтой гостиной. Он видел также, как наконец Бестужев с решительным видом направился туда и вслед затем появился у дверей, держа за руку дочь и Волконского.

Все, притихнув, обернулись в их сторону.

В это время из других дверей показались слуги с подносами, уставленными бокалами вина.

– Господа, – дрогнувшим голосом проговорил Петр Михайлович по-немецки, потому что большинство присутствующих были немцы, – представляю вам жениха и невесту.

Старый бестужевский дворецкий грохнул, по русскому обычаю, свой поднос на пол. Хрусталь зазвенел и задребезжал, разлетаясь в куски; гром музыки заглушил все. Гости спешили поздравить нареченных.

Часть вторая

*«Ты защищал, Господи, дело души моей;
искуплял жизнь мою».*

Плач Иеремии, III, 58.

I. Прошлое

Четырнадцать лет тому назад была отпразднована свадьба Волконских. Князь Никита, женившись на своей милой и любимой Аграфене Петровне, остался в Митаве; он с царского соизволения был освобожден от дальнейшего путешествия за границу и поступил на службу в канцелярию своего тестя Петра Михайловича. Ответственное положение Бестужева в Курляндии требовало очень хитрой деятельности и большого искусства. Русскому резиденту приходилось бороться с несколькими враждебными течениями, чтобы иметь преобладающее влияние на своей стороне. И Петр Михайлович боролся не без успеха. Дело было, видимо, важное, сложное, оно касалось жизни самостоятельного маленького государства, по всем признакам находившегося почти накануне своего присоединения к единому из трех более сильных, чем оно,

соседей, и весь вопрос заключался в том, кто окажется победителем: Россия ли, к царствующему дому которой принадлежала вдовствующая герцогиня Анна; Польша ли, считавшая Курляндию своим ленным владением, или Пруссия?

У князя Никиты через год после свадьбы родился сын Миша.

Волконский был счастлив своею жизнью и ничего не желал больше. Он обожал свою Аграфену Петровну и сына, они были с ним, и весь мир, вся суть его жизни сосредоточивалась в этих двух существах, и вне их ничего не существовало для Никиты Федоровича.

Для вышедшей замуж Аграфены Петровны внешняя жизнь в Митаве сначала мало изменилась. Но вскоре она не могла не заметить, что из дочери первого в Курляндии лица она стала просто женою молодого человека – правда, русского князя, но не сумевшего приобрести никакого значения в том обществе, где они находились, и упорно удалявшегося от этого общества. Это чувствовалось, и она знала, что многие понимают это. К тому же ее отец сблизился теперь с герцогиней, и почва прежнего положения в Митаве уходила из-под ее ног. Муж ее не хотел служить в канцелярии, и с этим она согласилась, хотя у нее были совершенно иные причины, чем у князя Никиты: ми-

тавская канцелярия казалась слишком незначительным местом для того, чтобы выдвинуться, служа там.

Аграфена Петровна любила мужа и из частых разговоров с ним видела, что с его способностями можно пойти далеко; она часто думала о будущем, по-своему, с надеждами на это будущее, ожидая, что оно придет еще радостней и лучше, и что судьба вечно будет улыбаться ей, как улыбалась до сих пор.

Малолетство сына привлекло ее к ребенку, и она стала заниматься им, проводя время дома. Это были самые счастливые дни для князя Никиты. Но Аграфена Петровна жила, кроме настоящего, еще мечтая о будущем, и думала о Петербурге, о большом дворе, о значении, которое может иметь со временем Никита Федорович.

Она чаще стала заговаривать с ним о новой русской столице, звала его в Петербург, требовала от него работы и деятельности, говорила, что так жить нельзя, и приводила в пример своих братьев, которые занимали уже видные посольские места.

Никита Федорович старался объяснить ей свой особенный план жизни, в котором на первом плане стояло воспитание сына и затем самоусовершенствование. Он был уверен, что, сокращая свои желания и расходы на себя, он может отдавать излишек другим, и ради этих же других, чтобы по мере своих сил при-

нести им возможно больше пользы, занялся медициной и с упорством и терпением стал изучать эту науку.

Аграфена Петровна никак не могла согласиться, что «воспитание» сына может составить какое-то особенное «дело». Ей казалось, и это было так обыкновенно и просто, что мальчик вырастет под их присмотром, они научат его чему следует, и все это будет незаметно, само собою, и говорить об этом с такой важностью вовсе не следует. Относительно расходов для других Аграфена Петровна возражала мужу, что их недостаток вовсе не так велик, чтобы можно было делать это, и что у него есть жена и ребенок, о которых он должен думать и заботиться. Узнав о медицине, она сначала очень испугалась. Она находила, что быть лекарем вовсе не княжеское дело, даже неприлично для ее мужа; но когда Никита Федорович пояснил ей, что и не думает стать лекарем, врачующим за деньги, а хочет именно помогать только ближнему по мере сил, — она успокоилась и все-таки не увидела в мужниной медицине «серьезного дела», хотя не была против этих занятий, которые казались ей так, между прочим, не лишними, но и не особенно нужными. В ее глазах настоящее было все-таки в канцелярии, и она звала его на службу в Петербург.

Аграфена Петровна была убеждена, что в ней говорит только желание блага, что при всей своей люб-

ви к мужу она не может поверить в его рассуждения и что так, как она хочет, будет лучше, и сам Никита Федорович увидит это впоследствии. Но Волконский стоял на своем, то есть продолжал быть по-прежнему ласковым и милым, но никогда сам не заводил разговоров о Петербурге, когда же Аграфена Петровна заговаривала об этом – начинал по-своему убеждать ее, и ей становилось неприятно и боязно.

«Да что он в самом деле? – думала она. – Он считает меня глупее, неразумнее себя, вот что... Разве я, наконец, не могу понимать, что лучше и что хуже? Время идет, а мы здесь, в глуши (теперь, когда она была княгиней Волконской, Митава казалась ей глушью), ничего не делаем, живем, не зная, зачем, а время проходит, лучшее время!»

Она зажмуривала глаза и представляла себе Петербург большим богатым городом, где все великолепно и где можно было выделиться и стоило поработать над этим.

Такие минуты стали чаще и чаще находить на нее, когда она оставалась одна со своими мыслями, и, наконец, стали переходить в какое-то томительное состояние гнетущей тоски, от которой нельзя было найти себе места.

«Что с нею? – спрашивал себя князь Никита, видя ее холодный, „не живой“ для него взгляд, которым она

иногда так зло и гордо смотрела на него в последнее время. – Не больна ли она?»

Он попробовал спросить Аграфену Петровну: не нездоровится ли ей. Она рассердилась.

– Я здорова! Терпеть не могу, когда меня спрашивают так – всегда что-нибудь случится потом! – ответила она, в упор, не улыбаясь, смотря на него. – И что за охота думать, что все больны?

Она знала, что намекает этим на занятия мужа медициной, что это будет неприятно ему, но ей именно хотелось сделать ему больно.

Никита Федорович взглянул на нее, как-то страдальчески улыбаясь, и эта улыбка еще более рассердила Аграфену Петровну.

«Он смеется надо мной!» – решила она. И вдруг ни с того ни с сего наговорила мужу самых обидных слов, самых обидных вещей, которые, она знала, будут ему особенно неприятны.

После этого разговора Никита Федорович несколько дней ходил задумчивый и почти не занимался своими книгами.

Аграфена Петровна первая пришла к нему просить прощения. Она чувствовала себя виновною пред мужем за то, что оскорбила его, но вместе с тем ей, виноватой, казалось, что теперь Никита Федорович был более чем когда-либо на прав пред нею, за свои мыс-

ли и поступки.

Они помирились. Однако князь Никита видел, что душевное состояние жены не изменилось после примирения, задумчивость не исчезла с его лица, и он не вернулся к своим книгам. Он теперь подолгу шагал из комнаты в комнату, не спеша, не торопясь, и часто заходил к сыну, играл с ним и был особенно ласков и нежен.

– Ты точно перед отъездом прощаешься с домом, – заметила Аграфена Петровна.

Она опять была в своем состоянии угнетения.

Волконский, не ответив, только внимательно посмотрел на нее, и она видела, что он понял, что она хотела сказать вместо «перед отъездом» – «перед смертью», но удержалась.

В конце концов князь Никита уступил жене. Однако, сидя за обедом, он после долгого молчания сказал, как бы думая вслух:

– Если бы ты знала только, что мы теряем, что мы теряем!

На другой же день начались сборы, а через две недели Волконские уехали в Петербург.

Аграфена Петровна ожила, точно все прежнее вернулось к ней, и сборы в дорогу, сама дорога, несмотря на все ее неудобства, приезд в столицу, разочарование ею, как городом, еще неустроенным и далеко не

столь пышным, как воображала Аграфена Петровна, встреча с родными, знакомства, – все это прошло как счастливое сновидение.

Волконский будто сам оживился, словно теперь и он был согласен, что так действительно будет лучше.

II. В Петербурге

Не стало императора Петра, и Меншиков при помощи гвардии возвел на престол его супругу Екатерину. На российском троне в первый раз появилась женщина, сделавшаяся самодержавною государыней. Конечно, это было крупное событие и об исторической важности его впоследствии было и, вероятно, будет еще много написано; однако оно вовсе не имело такого значения для современников, на глазах которых произошло тогда. Никто не заботился о том, будет ли продолжено начатое Петром дело преобразования, или со смертью его умрет все сделанное им, как следствие одной его личной воли, или, напротив, будет развиваться, как нечто такое, к чему Россия уже давно была подготовлена и лишь ждала, чтобы стать на тот путь, куда вывел ее великий император.

Для людей, бывших свидетелями этого события, неминуемо смешивались личные их мелкие интересы с тем, что происходило и что имело историческое значение. Главным образом тут важно было для них, как именно сами они попадут в поднявшуюся волну – захлестнет ли она их или поможет выплыть, общая же форма волны осталась, разумеется, для них незаметною. Ясно стало, что значение Меншикова, сильного

при Петре, теперь еще увеличится, и он, счастливый баловень судьбы, пробившийся из неизвестности, будет, безусловно, первенствующим лицом.

Старинные русские роды, в числе которых стояли Голицыны и Долгорукие, оказались недовольными. Также много было недовольных и среди чиновников, которых Меншиков, занятый главным образом войском, забыл или обошел. Недовольные, соединяясь, мало-помалу стали кристаллизироваться в кружки, и из них образовалась партия великого князя Петра, десятилетнего сына царевича Алексея Петровича.

Имя царевича с его несчастною судьбою и упорным, молчаливым противодействием новшествам отца явилось теперь как бы знаменем противного Меншикову лагеря и делало великого князя лицом, с которым невольно соединялись надежды недовольных. К тому же великий князь, как единственный потомок мужеского пола из всего царского рода, имел гораздо более прав на корону, чем Екатерина, и все понимали, что женщина пока только устранила ребенка от престола, но что настанет время, когда этот ребенок вырастет.

Для Волконских все это произошло наряду с хлопотами об устройстве их дома, который они строили себе на Васильевском острове (императорским указом было запрещено нанимать помещения). Князь Ники-

та все сделал для жены: переехал на житье в столицу, отделал там дом, несмотря даже на то, что для этого пришлось войти в долги, но не хотел изменить свои привычки и по-прежнему остался нелюдимым, не общительным, хотя дал княгине Аграфене полную свободу поступать, как ей заблагорассудится.

Умная, отлично образованная и владевшая несколькими языками, княгиня скоро собрала в своей гостиной целый кружок, в котором своими людьми стали бывать у нее Черкасов, кабинет-секретарь, сенатор Нелединский, Веселовский, Пашков, Егор Иванович, советник военной коллегии, и Абрам Петрович Ганнибал, известный приближенный покойного государя, его любимец арап.

Княгиня сразу сумела поставить себя в Петербурге и не потерялась там.

Сначала она не сразу могла определить, чего ей следовало, собственно, добиться и кого держаться, но вскоре положение выяснилось само собою.

Великий князь – еще ребенок; нужно здесь заручиться и медленно, но прочно строить свое здание. Рано или поздно он взойдет на престол, и об этом времени нужно думать и рассчитывать на него. Сестра великого князя Наталья Алексеевна не только дружна с братом, но имеет огромное влияние на него: вот путь, который доведет к желанной цели.

И Аграфена Петровна окружила себя людьми, противными Меншикову, и сделалась центром пока еще небольшого кружка, собиравшегося в ее гостиной. Вскоре в этой гостиной появился Маврин, воспитатель великого князя.

Апрель 1726 года был беспокойным месяцем в Петербурге. Две недели не собирался уже Верховный тайный совет, государыня была встревожена подметными письмами, и по городу снова ходил слух, впрочем, уже не раз напрасно возникавший, но тем не менее всегда производивший впечатление, о том, что князь Михаил Михайлович Голицын двинулся на Петербург со своею украинскою армиею.

Как всегда, когда людям что-нибудь очень хочется, они охотно придают веру и значение всему, что мало-мальски соответствует их желаниям, так и теперь многие в Петербурге думали, что они накануне великих событий, и высчитывали по пальцам шансы борьбы.

– Извольте вспомнить, – крикнул Веселовский в гостиной Аграфены Петровны, – кто у них есть?... Толстой граф – хорошо, Апраксин – ну, он генерал-адмирал, да ведь стар, стар до того, что все равно что ничего; и остаются Меншиков да герцог Голштинский.

– А ведь какую волю герцог-то взял – и в совете сидит, и через него все идет, – вставила Волконская.

– Что поделаете, княгиня? – отвечал ей, разводя руками, Нелединский. – Он – муж старшей дочери ее величества; не станете же спорить с ним! – и он насмешливо улыбнулся.

– Да сам Меншиков уже предупредил вас, – возразил Веселовский, как будто на самом деле-то они собирались уже спорить с герцогом. – Он не может простить ему председательство в совете.

– Так, значит, у них уже пошли размолвки в среде? – заметил Нелединский, снова улыбаясь.

– В том-то и дело, – подхватил Веселовский, не замечая, что тот умышленно упомянул среду, потому что Тайный совет собирался обыкновенно по средам.

Но Аграфена Петровна поняла и улыбнулась.

Ганнибал сидел по своему обыкновению в углу, на своем излюбленном месте, с крепко стиснутыми на груди руками, и молчал, изредка лишь вставляя свои замечания.

– Ну, а Феофан, – сказал он, – этот поневоле будет на их стороне. Великий князь ему не простит «Правду воли Монаршей».

– Что, что?... Феофан? – опять загорячился Веселовский. – А дело Маркелла? Нынче Маркелл обвиняет его в Преображенской канцелярии. Нет, он не страшен!

– Гвардия, гвардия страшна! – как бы про себя проговорил Черкасов, ходивший по комнате с серьезным лицом и опустив голову.

Но для Веселовского, видимо, не существовало никаких препятствий.

– А украинская армия? – воскликнул он. – Князь Михаил Михайлович двинулся, и уж на этот раз оно верно.

– Да, кажется, что двинулся, – подтвердил Нелединский, – пора ему...

Аграфена Петровна, довольная, что в ее доме идет как следует серьезный разговор, сидела, удобно прислонившись к спинке дивана и, одобряя улыбкой гостей, играла веером, который, по принятой еще в Митаве моде, был весь покрыт автографами выдающихся лиц.

– Абрам Петрович, – обратилась она к Ганнибалу, – вы должны мне тоже написать на веере что-нибудь.

– Если вы меня признаете достойным, – ответил с поклоном арап и улыбнулся своими белыми, ровными зубами.

Абрам Петрович был очень нужный для Волконской человек, так как он, преподавая, по поручению государыни, математические науки великому князю, считался в числе его наставников и близких к нему лиц.

В это время лакей доложил о приходе Пашкова.

Пашков вошел в гостиную, как свой человек, и, поздоровавшись, с улыбкой подал Аграфене Петровне грязный клочок грубой бумаги, сложенный в виде письма.

– Это что? – спросила княгиня, отстраняясь и брезгливо поднимая руки.

– Должно быть, подметное письмо, – объяснил Пашков. – Я его у вас на крыльце нашел.

– Вот, нашли, куда подкидывать письма! – засмеялся Веселовский.

– Ах, это, должно быть, очень интересно! – сказала Аграфена Петровна, все-таки не касаясь письма. – Прочтите же скорее!

Пашков развернул бумагу и стал читать: «Известие детям Российским о приближающейся гибели Российскому государству, как при Годунове над царевичем Дмитрием учинено: понеже князь Меншиков истинного наследника, внука Петра Великого, престола уже лишил, а поставляют на царство Российское князя Голштынского. О, горе, Россия! Смотри на поступки, их, что мы давно проданы!»

– А ведь ловко составлено! – заключил Пашков. – На народ может подействовать.

– Любопытно, кто этим занимается? – спросил Черкасов. – Видно, что человек не простой.

Пашков смял письмо и, подойдя к печке, бросил его

туда.

– А вы знаете новость? – спросил он, поворачиваясь на каблуке и захлопнув заслонку. – Рабутин приехал.

Граф Рабутин, которого уже несколько времени со дня на день ждали в Петербурге, был посол Карла VI, императора римско-немецкого.

Глаза Аграфены Петровны заблестели, и лицо оживилось.

– Так что ж вы молчите до сих пор и не скажете? – заговорила она, придвигаясь к столу. – Когда он приехал? Откуда вы знаете это, кто вам сказал?

– Сам видел, сейчас, едучи к вам. Дом ему приготовили у Мошкова; проезжаю – вижу, зеленая карета стоит; гайдуки, кучера – тоже в зелень с белым одеты; ничего, красиво. Спросил, кто приехал, – говорят: Рабутин... вещи его вынимали.

– И много вещей? – осведомился Веселовский.

– Да, изрядно.

Аграфена Петровна задумалась с торжественной улыбкой на губах.

– Приехал! – протянула она.

– А отчего вы так интересуетесь им, княгиня? – спросил Пашков. – Я не знал, а то бы поспешил сообщить первым делом...

– Да как же не интересоваться? – наперерыв всем

крикнул Веселовский. – Ведь Петр Алексеевич, со стороны своей матери, – родной племянник австрийской императрицы, – значит, Рабутин будет на стороне великого князя, а ведь это – сила!

– Хорошо бы с ним знакомство свести поближе, – заметил Нелединский.

– Что ж, это можно, я думаю, вот через Абрама Петровича или Маврина, – проговорил Черкасов, снова заходивший по комнате.

– Можно еще легче и проще, – сказала Аграфена Петровна. – В первый же раз, как Рабутин будет у меня вечером, я приглашаю вас к себе...

Черкасов приостановился; остальные, как бы удивленные неожиданностью, посмотрели на княгиню, и она наивно оглядела их, точно говоря:

«Ну, да, Рабутин будет у меня, и тут нет ничего удивительного».

На другой же день весть о приезде Рабутина разнеслась по всему городу и отодвинула на второй план все остальные толки.

Городские рассказы и пересуды следили уже почти за каждым шагом австрийского посла. Казалось, узнали всю подноготную: каков он собою, сколько у него платья, слуг, как он держит себя – и все отзывы были благоприятны. Впрочем, одного не могли узнать – самое главное – зачем появился Рабутин в Петербурге?

В придворных кружках говорили, как будто под секретом, но на самом деле желая, чтобы оно стало гласным, что австрийский посол приехал для заключения договора ее величества с его царским величеством относительно турецких и иных дел, общих для обоих государств. Но этого было мало. У нас был свой представитель в Вене – Лонгинский: отчего он не мог заключить договор?

Стали следить за Рабутиным, к кому он поедет и с кем сведет знакомство.

Рабутин, тотчас по своем приезде, был принят государыней частным образом, прежде торжественной аудиенции. Затем он был у великого князя и его сестры, потом объехал важных персон в Петербурге, безразлично, к какой бы партии они ни принадлежали, но у Меншикова был наравне с другими, не выделив его из числа прочих.

У крыльца дома княгини Волконской тоже видели зеленую карету австрийского посла.

Князь Никита, переселясь в угоду жене в Петербург, невзлюбил этого города, тонувшего, как ему казалось, в болотах. Он так и не мог отделаться от того ужасного, тяжелого впечатления, которое произвели на него, – когда они подъезжали по топкой, глубоко засасывавшей колеса, дороге к Петербургу, – обезображенные тлением трупы лошадей, валявшихся по сто-

ронам этой дороги. Дождливая, мрачная, сырая петербургская весна всегда оказывала на него удручающее действие. Приближения этого времени он ждал с внутренним безотчетным страхом. Он знал, что весна не обойдется для него без страшных головных болей, которые аккуратно повторялись у него и мучили, точно какие-то твердые подушки неумолимо сдавливали ему виски и затылок.

Волконскому, который страдал теперь этими своими головными болями, было не до Рабутина и не до его приезда. Он уже недели полторы не выходил из своей комнаты, где сидел, поджав ноги, на диване, в халате и с обвязанной теплым платком, наподобие чалмы, головою – единственным средством, которое помогало ему.

Аграфена Петровна привыкла к головным болям мужа, знала, что они пройдут, что ему нужно только отсидеться со своим платком на голове, и не беспокоилась. Она часто заходила к нему и спрашивала, не нужно ли чего. Никита Федорович – если это было во время приступа боли – обыкновенно махал ей рукою, чтобы она ушла, или – когда ему бывало легче – делал односложные вопросы, и княгиня садилась и рассказывала ему.

– Ты знаешь, – заговорила она в один из таких промежутков, – к нам сюда приехал австрийский послан-

ник Рабутин. Он нужен мне... и очень даже нужен, – добавила она, запинаясь.

Волконский, боясь пошевелить голову, показал глазами, что понимает это и на все согласен. На самом же деле ему было решительно все равно.

– Ну, так вот, – продолжала Аграфена Петровна, – он уже был у меня утром, и мне нужно сделать для него вечер, пригласить своих – это необходимо.

Она остановилась и вопросительно посмотрела на мужа.

Он, не двигаясь, молчал, глазами только спрашивая: «в чем же дело?»

– Да я не знаю, как тебе? Тебя это не беспокоит? Впрочем, ведь мы будем далеко от тебя, в гостиной, и тебе ничего не будет слышно.

– Ах, пожалуйста, что ж мне!.. пожалуйста! – с трудом выговорил Волконский и, почувствовав от движения ртом новый приступ боли в голове, закрыл глаза и болезненно сморщил щеки.

– Что, опять? – тихим, соболезнующим шепотом спросила его жена.

Он только махнул рукою и застонал.

Аграфена Петровна осторожно, на цыпочках, вышла из комнаты.

Вечер княгини в честь Рабутина удался как нельзя лучше и был вполне блестящим. Съехалось почти

пол-Петербурга, и в городе забеспокоились и заговорили о том, что могло быть общего между Аграфеной Петровной и Рабутиным, который, видимо, относился к ней очень внимательно. Мало того, после вечера он продолжал уже запросто посещать княгиню, и больной Никита Федорович, на свой обычный вопрос жене, кто был у нее сегодня, чаще и чаще стал получать ответ: «Граф Рабутин!» – так что, когда наконец Волконский отсиделся от своей болезни и вышел из комнаты, этот австрийский посланник, о котором он слышал то и дело, был уже и ему интересен.

– Познакомь же меня с твоим Рабутиным, – сказал он жене, к ее удивлению, потому что очень редко интересовался теми, кто бывал у нее.

И в первый же раз, как приехал Рабутин, она послала доложить об этом мужу.

Никита Федорович почему-то составил себе понятие о графе Рабутине, как о семейном человеке, приехавшем с важным поручением, гордом и смотрящем несколько свысока, но умном и бывалом, с которым, может быть, будет интересно поговорить.

Из всей «компании» своей жены он любил беседовать только с Ганнибалом да имел некоторые сношения с Веселовским, который через своего брата, проживавшего в Лондоне, доставал князю кой-какие книги.

Однако, войдя в гостиную Аграфены Петровны, он увидел, что настоящий Рабутин вовсе не похож с виду на того Рабутина, каким он его представлял себе. Это был молодой человек, стройный и изящный, с красивыми, нежными чертами лица и изысканными манерами. Он так ловко встал и поклонился, так ловко сидел на нем белый гродетуровый французский кафтан с зелеными отворотами и так красиво на его белом камзоле лежала зеленая орденская лента, что князь Никита невольно смутился и почувствовал, что отвык от общества этих блестящих светских людей и пожалел, зачем ему захотелось знакомиться с Рабутиным.

Граф, поклонившись Волконскому особенно вежливо, причем, однако, было ясно, что он кланяется таким образом не именно Волконскому, а просто потому, что привык так кланяться всем без исключения, — сел довольно развязно в кресло и, обратившись к Аграфене Петровне, продолжал начатый с нею разговор о своих впечатлениях в Петербурге.

Рабутин говорил по-французски с несколько худо скрываемым немецким акцентом и неправильностями, но живо и остроумно. Волконский заметил, что Рабутин знает, что его разговор жив и остроумен, и как будто сам слушает себя. Это ему не понравилось. Не понравилась также князю Никите та учтиво-приличная развязность, с которою граф, поджав ноги в

шелковых, ловко обхватывавших его красивые икры чулках, и как-то свободно держа треугольную шляпу с пышным пером, смотрел прямо в глаза Аграфене Петровне, в эти милые, дорогие для князя Никиты глаза, светившиеся до сих пор для него лишь одного счастливою улыбкой. Видимо было, что Рабутин привык смотреть так на всех хорошеньких женщин и, собственно говоря, никто не мог бы придраться к нему за это, но Никите Федоровичу неприятно было, как смел этот красивый, чужой, Бог знает, зачем приехавший молодой человек относиться к его Аграфене Петровне, как ко всякой другой хорошенькой женщине.

Волконский знал, что она была хороша и что лучше ее не было на свете; но при чем же тут Рабутин и какое дело ему до всего этого? А между тем этот Рабутин смеялся, разговаривал, шутил и был очень доволен собою, как будто все, что он делал, было очень хорошо и необходимо и доставляло неизъяснимое удовольствие Аграфене Петровне.

Никита Федорович постарался поймать ее взгляд, но она не смотрела в его сторону. Правда, она ни разу не взглянула и на Рабутина, но Волконскому уже казалось, что она нарочно делает это в смущении, хотя он знал, что если бы она посмотрела теперь на Рабутина, – он, Никита Федорович, не ответил бы за себя.

Недавние головные боли были тому причиной, или

просто Волконский отвык от этого обращения молодых людей, но только он чувствовал, что ему нестерпимо противен изящный Рабутин с его лентой и зелеными икрами, и что он не может оставаться дольше в этой гостиной, но вместе с тем и ни за что не уйдет из нее, ни за что не оставит *их* одних.

Он сидел, стиснув зубы и зло уставившись на Рабутина, который несколько раз заговаривал с ним, но каждый раз получал такой односложный ответ, что перестал обращаться к князю Никите.

Волконская видела состояние мужа и боялась, чтобы он не наговорил Рабутину дерзостей.

— Что с тобою? — проговорила она наконец, когда ее гость, раскланявшись, уехал.

Князь Никита только теперь, оставшись один с женою и видя ее по-прежнему милое лицо, пришел в себя и опомнился.

— Ничего! — ответил он, проведя рукою по голове. — Ничего... только я к этому Рабутину никогда больше не выйду.

С этого дня Волконский каждый раз, как узнавал, что у его жены был Рабутин, болезненно морщился и не расспрашивал о нем.

Частые посещения молодого, красивого иностранного графа в доме Волконской неминуемо должны были подать повод к перешептыванию в петербург-

ских гостиных, и мало-помалу началась создаваться сплетня.

Рабутин принадлежал к числу тех дипломатов, которые, благодаря данным им от природы средствам, не только составляют через женщин свою собственную карьеру, но и устраивают многие дела, порученные их ведению. Рабутин по этой части давно приобрел и выдержку, и опыт.

Правда, сплетня, еще глухо ходившая из уст в уста в виде догадок, не могла дойти до Никиты Федоровича. Но появление Рабутина уже принесло в сердце Волконского каплю горечи, которую он напрасно старался заглушить. Он предчувствовал и знал, что стремления жены не могут торжествовать над его правдой, которая отвергала эти стремления, и хотел, чтобы она собственным опытом убедилась в этом, и не боялся до сих пор за свое счастье; но теперь вдруг, когда он увидел этого графа, в его душе шевельнулось чувство, похожее на страх, и он впервые ощутил раздражение и недовольство затеями жены, которые сам же допустил. Разумеется, нечего было и думать идти назад. Но прежде ему не приходило в голову вмешиваться в дела жены, он просто ждал развязки, уверенный в том, какова она будет, а теперь он уже не мог отогнать от себя беспокойную мысль о том, в чем, собственно, заключаются эти «дела». Конечно,

он верил в свою Аграфену Петровну, иначе нельзя было бы жить, и все-таки это глупое беспокойство мучило его. Но как узнать и как заговорить с нею?

А Рабутин продолжал бывать. Аграфена Петровна писала ему записки и отправляла при его посредстве какие-то письма. Она каждый вечер подолгу сидела у своего стола и исписывала большие листы бумаги. Она стала казаться рассеянною, беспокойною, нетерпеливою, ожидала каких-то известий, много выезжала из дома, не пропускала ни одного мало-мальски выдающегося собрания в Петербурге и несколько раз ездила во дворец к великой княжне Наталии Алексеевне.

Наконец Волконский застал жену такую, какою никогда не видел ее без себя, – такую она только бывала в лучшие минуты их счастья! Она сидела вся сияющая, радостная, и бесконечно счастливая улыбка была на ее лице. Она блестящими глазами точно впилась в письмо, которое держала в руках, ничего не слышала кругом и не видела.

Князь Никита близко подошел к ней; она вздрогнула и быстро спрятала письмо.

Много раз Никита Федорович заставлял ее за чтением своей корреспонденции, но никогда она не пугалась так, никогда у нее не бывало этого счастливого лица и никогда она не прятала писем.

– Покажите мне письмо! – вдруг проговорил Никита Федорович.

Аграфена Петровна засмеялась каким-то мелким, не своим, неприятным для князя Никиты смехом и, отстранившись от мужа, как кошка, вырвалась от него и ушла к себе в спальню.

Волконский стоял, точно кто-нибудь неожиданно больно ударил его и исчез.

Что это было за письмо, откуда?... И письмо ли это было? А может быть, просто записка, но от кого? Не от Рабутина же?

III. Рабутин

Никита Федорович должен был сознаваться сам пред собою, что он ревнует. Это скверное чувство неожиданно возмутило его душевный покой, в котором все до сих пор казалось так ясно и неизменно. Он никак не предвидел волнения именно с этой стороны. Положим, князь Никита сознавал, что его ревность неосновательна и что он не имеет никакого права на нее, потому что в четырнадцать лет его семейной жизни Аграфена Петровна не подала ни малейшего повода к тому; он соглашался, что ревновать было глупо, смешно, может быть, но тем не менее не мог лукавить, не мог скрыть пред собою свое скверное чувство и мучился, стараясь успокоить себя и победить явившегося в нем беса.

Разумеется, он скрывал это от жены, чтобы не оскорбить ее. Но Аграфена Петровна была так занята, что, казалось, не замечала, что происходит в душе мужа, как будто ей было вовсе не до него.

Все это время она, при постоянных приемах и выездах, тратила особенно много денег. Между тем средства Волконского вовсе не соответствовали тем требованиям, которые к ним предъявляли.

Из деревни, где Волконский запретил всякие кру-

тые меры, оброк получался туго; Петр Михайлович в последнее время присылал из Митавы все меньше и меньше. Князь Никита отказывал лично себе во всем, но его мечта уделять другим из своего дохода не только не осуществлялась, а напротив, нужно было так или иначе покрывать с каждым днем увеличивавшиеся недостатки.

Они содержали целый штат дворовых, у княгини было несколько пар лошадей, кареты, провизия была дорога, и ко всему этому нужно было расплачиваться по сделанному для постройки дома долгу.

Князь Никита считал необходимым делать все это для жены, твердо уверенный, что настанет время, и, может быть, очень скоро, когда Аграфена Петровна откажется от Петербурга, и они уедут навсегда, одни, в деревню. Это было самое сокровенное желание Никиты Федоровича, и исполнение его казалось вовсе не невозможным: ему так не нравился Петербург, что он не сомневался, что Аграфена Петровна не может не увидеть, что в деревне лучше.

Однако пока она не убедилась в этом, нужно было дать полную ей возможность испытать самой на опыте все, дать полную волю, чтобы она сама нашла дурное дурным. А для князя Никиты лучшей в мире женщиною была Аграфена Петровна, и, по его мнению, эта лучшая женщина могла только временно

ошибаться, но если ей дать свободный выбор, в конце концов она станет непременно на ту сторону, где правда. И он старался не отказывать ей ни в чем.

Бестужевы жили всегда большим домом. Петр Михайлович баловал дочь, и она, почти никогда не зная ни в чем отказа, никак не могла и не умела войти в мелкие расчеты и понять, что может не быть денег, когда их нужно.

Первого мая было назначено катанье в Петербурге. Волконская хотела поехать с сыном и за несколько дней пред этим пришла к мужу, чтобы переговорить о предстоящем развлечении. Никита Федорович сидел у своего письменного стола и при входе жены отклонился назад, по привычке перекинув через спинку кресла руку, в которой держал перо.

– Ты занят? – спросила Аграфена Петровна. Князь Никита ласково взглянул на нее и, улыбаясь, покачал головою. Он любил жену и был влюблен в нее так же, как и на другой день их свадьбы. Никогда не расставаясь с Аграфеной Петровной, он, видя каждый день ее милое лицо, решительно не замечал в этом лице никаких изменений: ему она казалась совершенно такою, какою он увидел ее в первый раз, и он всегда с одинаковою нежностью и восторгом любовался ею.

– Прелесть моя, радость! – проговорил он и хотел взять ее руку, чтобы поцеловать.

Аграфена Петровна видела, что он в особенно кротко-любовном настроении; но она пришла для разговора, который не совсем подходил к этому настроению, и потому она суше, чем следовало, поспешно протянула мужу руку к губам и проговорила:

– А я к тебе.

Никита Федорович поморщился. Он знал, что значили эти слова: Аграфена Петровна пришла просить денег.

– Я получил письмо сегодня от твоего батюшки, – сказал он, снова пригибаясь к столу и перебирая лежавшие на нем бумаги. – Вот, – добавил он, найдя письмо, – прочти!..

Аграфена Петровна взглянула на знакомый, неясный почерк отца и с первых же строк поняла, в чем дело, Петр Михайлович писал, что ему нынче положен запрет в Курляндском герцогстве вступаться в тамошние управления и таможенные сборы и других всяких доходов, и велено отнюдь ни до чего не интересоваться, кроме одних местностей, определенных вдовствующей герцогине. Жалованья он-де получает немного, да и не в срок, а потому выслать денег не может и не знает, когда вышлет.

– А ты ждал денег от батюшки? – спросила Аграфена Петровна.

– Конечно, ждал.

– Значит, мы не можем заплатить за свечи? У нас их много вышло, я велела еще взять, это необходимо.

Никита Федорович пожал плечами.

– Зерно, крупа, *кажется* вышли, – неуверенно произнесла Аграфена Петровна.

– Нет, зерна и крупы хватит еще, – утвердительно произнес князь Никита.

– Ну, а как же я заплачу за локоны? – спросила вдруг Волконская.

– Какие локоны?

– Да по счету там нужно заплатить сто пять рублей, *кажется*... вот тебе и счет, чтобы ты не думал, что я лгу.

Никита Федорович, который вовсе и не думал, что она лжет, взял из рук жены золотообрезную бумажку, на которой было четко и красиво написано:

«Щет, коликое число сделано про сиятельную княгиню и милостивейшую государыню Аграфену Петровну, княгиню Волконскую, локонов и протчего камердинером ее императорского величества Петром Вартотом.

Февраля 8 дня 8 малых машкаратных локонов – 25 р.

Машкаратные же турецкие длинные волосы – 10 р.

Фаворитов 8 пар – 16 р.

4 штуки долгих волос – 8 р.

2 поручки маленьких длинных – 32 р.

За переправку локонов – 12 р.

Итого – 03 р.

Pierre Wartot».

Волконский, просмотрев счет и наморщив лоб, стал, придавливая, тереть его, точно у него чесалось там внутри головы.

– Как же это? – проговорил он наконец. – Знаешь, Аграфенушка, это все чересчур – так мы не проживем, пожалуй.

– Ах, опять ты за старое! – заговорила, начиная уже волноваться, Аграфена Петровна. – Сколько раз уже тебе говорила, что мы живем так скромно, как только можно! Только самое необходимое... Ведь не могу же я не быть окружена обстановкой, соответствующей моему положению? – сверкнув глазами, добавила она.

– Да все-таки можно бы сократить кое-что.

– Что, что сократить? ты скажи, ну, назови!

– Да я не знаю... ну, вот хоть для Миши опять новые башмаки купили; ну, зачем ему столько башмаков? – слабо возразил Никита Федорович.

Аграфена Петровна рассердилась за то, что он так скоро нашел свой пример и, дернув плечами, ответила: «Ведь не водить же мне его босиком?» – и отвернулась, недовольно надув губки.

Волконский давно привык к манере жены отвечать, когда она сердилась, всегда преувеличивая слова говоривших с нею, и потому только укоризненно тихо произнес:

– Аграфенушка, ну, когда же я говорил, чтобы ты водила его босиком?

Когда он говорил «Аграфенушка», все шло еще ничего, но при второй половине его фразы Аграфена Петровна вдруг обернулась к нему и нервно, с внезапно поднявшеюся злобой, заговорила, торопясь словами, точно боялась, что сердце пройдет у нее раньше, чем она кончит говорить:

– Да что это ты выдумал читать мне наставления, словно кто дал тебе право? Я – не батрачка, не подлая тебе раба, я не в неволе у тебя... и сама могу иметь свою волю... Если ты сидишь в одном месте и ничего не хочешь делать – так я не могу так. Понимаешь, я хочу и буду делать, что мне нравится... Да, вот что! Не нужно мне твоих денег, слышишь, не нужно! – встав уже с места и возвысив голос, сердилась она и, не найдя, что сказать еще, скорыми шагами вышла из комнаты, хлопнув дверью.

Никита Федорович грустно опустил на руки голову и задумался.

Эти вспышки жены, казавшиеся как будто беспричинными, обыкновенно до глубины души огорчали

его. Но он всегда старался объяснить их себе и, разобрав подробности, всегда находил роль последовательных причин и оправдывал свою Аграфену Петровну.

Однако сколько он ни думал теперь, ничего не мог найти в оправдание сегодняшней вспышки. Главное, он не знал, почему жена так скоро рассердилась и почему пришла уже раздраженной, готовая встретить целою бурею малейшее возражение.

Очевидно, у нее было что-то свое, скрытое от Никиты Федоровича, волновавшее ее, чего он не знал, и не вполне еще побежденный недавний бес снова проснулся в нем.

Волконский встал из-за стола и быстрыми шагами заходил по комнате. Оба они теперь – Аграфена Петровна на своей половине, он у себя в кабинете, – чувствовали, что поссорились, и никто не хотел идти мириться.

Кончился день, и на другое утро они встали с окрепшею, принявшею уже известную форму, злобою. Никита Федорович не пошел на половину жены; она не шла к нему.

Над Петербургом разразилась первая весенняя гроза, и давивший с утра жаркою тяжестью воздух разрядился и, словно промытый дождем, благоухал распускавшимися почками зелени.

Князь Никита открыл окно и с удовольствием вдохнул этот воздух. На него повеяло свежестью еще холодновато-сырого вечера, но эта свежесть была приятна, и Никита Федорович, облокотившись на подоконник, стал смотреть на расстилавшийся пред его глазами широкий, своеобразный вид сравнительно недавно возникшего Петербурга.

Из-за низких крыш наскоро устроенных мазанок виднелась торжественная, огромная река своею гладкою, озаренною красным огнем заката поверхностью, с профилем крепости, где высилась тонкая, красивая колокольня собора. Оголенные еще деревья Летнего сада причудливою, темною сеткой вырисовывались на терявшем с каждой секундой свою лазурь небосклоне. Вечер был совсем весенний, не петербургский, напоминавший Никите Федоровичу далекую деревню.

У Волконского отек, наконец, правый локоть, на который он упирался, и он машинально перегнулся на левый, но это свое движение он заметил лишь потому, что ближайшие предметы передвинулись у него направо. Теперь Бог знает откуда торчавшее деревце заслоняло своими тощими, голыми веточками часть крепостной колокольни. Он подвинулся еще чуть левее, и колокольня почти совсем заслонилась.

«Странно! – мелькнуло у князя Никиты:— как это ни-

чтожный пучок прутьев может вдруг заслонить то, пред чем он – такое ничтожество! – И невольно у него это деревце получило связь с тем, на что целый день были направлены сегодня его мысли. – Неужели, – пришло ему в голову, – могут минутные размолвки с женою заслонить счастье стольких лет супружеской жизни?»

Он закрыл окно и почувствовал, что давно уже перестал сердиться на жену и что сейчас же должен пойти к ней, посмотреть на нее, посмотреть ей прямо в глаза и рассмеяться в ответ на ее улыбку, которою она наверно встретит его.

Аграфена Петровна была в маленьком кабинете – своей любимой комнате, очень уютной. Здесь стояла привезенная еще из Митавы легкая мебель желтого тополя, а стены были расписаны по холсту французскими художниками, приехавшими вместе со знаменитым Леблонем, по проекту которого строился и сам дом Волконских. Комната, освещенная двумя окнами, в которые слабо гляделись сумерки угасшего дня, была полутемна.

Никита Федорович, войдя, сейчас же увидел профиль жены, темневший пред одним из окон. Она сидела у своего столика и была, очевидно, занята чем-то очень серьезно.

Князь Никита сделал шаг вперед. Аграфена Пет-

ровна считала деньги. Часть лежавших пред нею золотых монет выравнялась уже в аккуратные стопочки, остальные – лежали еще порядочною кучкой.

Волконский предполагавший, что жена ждет его примирения, что ее сердце так же, как у него, и так же, как это бывало прежде, давно прошло – и она только первая не хочет идти мириться, ждал совсем другого; он никак не думал, что Аграфена Петровна совсем забыла о нем в эту минуту, что он может каким-нибудь образом *помешать* ей. А между тем она обернулась, и по ее холодному, недовольному лицу он видел, что действительно она в эту минуту вовсе не думала о нем, и он помешал ей.

Но откуда при всем этом были у нее деньги?

«Что это? Долг, сделка, продажа каких-нибудь вещей? Рабутин!» – вспомнил Никита Федорович.

И вдруг небывалое бешенство охватило все его существо, он задрожал всем телом – и не своим, сдавленным голосом проговорил, чувствуя, что не он сам, но бес владеет им:

– Откуда... откуда деньги?

Аграфена Петровна встала, оперлась рукою на стол и, выпрямившись во весь рост, высоко закинув голову, грозно ответила:

– А тебе какое дело до этого?

Ее лицо было искажено злобою и гордостью и от-

талкивало от себя Никиту Федоровича.

– Что? Какое мне дело?... мне? А такое мне дело, что я знаю, откуда эти деньги! – Он все больше и больше задыхался, его сердце билось до боли сильно, грудь сдавилась, словно тисками. – Знаю, что они от Рабутина! – вдруг выкрикнул он и, упав в кресло, закрыл лицо руками.

Он не помнил уже, что говорил и делал. Он боялся отнять руки, открыть глаза и посмотреть, что с женою; он не понимал, как язык повернулся у него нанести ей это оскорбление, и не мог сообразить, что должно случиться теперь.

Но Аграфена Петровна оставалась совершенно спокойною, все также опершись рукою на стол и гордо закинув голову.

– Да, от Рабутина... «вы» угадали! – подтвердила она.

Князь Никита ожидал всего, но только не этого. Он отнял руки от лица и остановился на жене долгим, бессмысленным взглядом своих вдруг помутившихся, необыкновенно широко открытых глаз. Его лицо стало изжелта-бледным и губы посинели.

«Господи, что с ним?» – мелькнуло у Аграфены Петровны.

И вдруг правая щека князя Никиты часто и судорожно задрожала, жила на левой стороне шеи стянулась,

рот дрогнул и скривился, плечи заходили мелкою дрожью, и кисти рук неудержимо замотались в разные стороны.

Смятение, страх, раскаяние и жалость, главное – жалость, охватили Аграфену Петровну, и она, забыв уже всю свою гордость, обиду и злобу, кинулась к мужу.

– Милый... родной... погоди! Что ты? – проговорила она голосом, в котором звучала неподдельная нежность. – Воды тебе, стой!

Она принесла мужу из спальни воды, заставила его выпить и, положив ему на плечи руки, смотрела на него испуганная, но снова любившая и потому по-прежнему прекрасная.

Князь Никита тяжело дышал. Судорог в лице у него уже не было, только руки вздрагивали.

Он силился улыбнуться и успокоиться. Ему было довольно взгляда жены, ее ласкового слова, чтобы вновь почувствовать радость и жизнь.

– Да что ты так... что? – спросила Аграфена Петровна. – Ну, скажи все, что с тобою было?

Она села мужу на колена и обняла его одною рукою.

Спокойствие почти вернулось к нему. Своим чувством любви, которое никогда не обманывало его, он уже знал, что жена ни в чем не виновата пред ним, что

все объяснится, и его Аграфена Петровна останется чиста, как прежде. Он постарался подробно рассказать ей все свои тревоги последних дней, сообщил о письме и о Рабутине. При упоминании этого имени он было снова заволновался, но Аграфена Петровна перебила его вопросом:

– Да ты знаешь, зачем он приехал в Петербург?

– Говорят, что заключать какой-то договор.

Волконская улыбнулась.

– Да, это так говорят, а на самом деле он здесь, чтобы хлопотать за великого князя.

– Петра Алексеевича?

– Ну да! Видишь ли, – заговорила Аграфена Петровна, – императрица хочет сделать наследницею престола одну из своих дочерей. Герцог Голштинский, муж старшей царевны Анны Петровны, входит теперь в мельчайшие подробности правления, словно будущий супруг будущей государыни. Они хотят обойти великого князя. Ну, а это не так-то легко, – у него тоже есть преданные люди, да и со стороны своей матери он – родня Гамбургскому дому; значит, для этого дома весьма важно, чтобы русский престол занимало лицо, находящееся в близком родстве с ним. Вот австрийцы и послали...

– И ты в числе преданных людей великому князю? – спросил Никита Федорович.

– Это – старая история; брат Алексей уже давно в сношении с австрийским двором, еще с тех пор, как в Вене скрывался от своего отца царевич Алексей Петрович.

– Значит, вы играете в руку австрийцам?

– Как, в руку австрийцам? – встрепенулась Аграфена Петровна, вставая от мужа. – Желать, чтобы в России царствовал коренной русский государь, единственный мужской потомок Романовых, родной внук императора, и всеми силами противодействовать воцарению женщины, рожденной от иностранки и вышедшей замуж за иностранца же, который придет и будет господствовать над нами, – по-твоему, значит, играть в руку австрийцам? Пусть австрийцы теперь пока помогают нам с их Рабутиным, а потом увидим еще, будут ли они иметь возможность сесть нам на шею.

Выражение жены «австрийцы с их Рабутиным» было особенно приятно Никите Федоровичу.

– Но зачем же ты берешь от него...

– Деньги? – перебила Аграфена Петровна. – Затем... затем, что у нас их нет, затем, что они нам нужны, и что борьба без денег немыслима. Я смотрю на эти деньги, как на средство борьбы за благое дело. Это все равно. Отец в Митаве брал деньги даже у евреев, когда они ему были нужны... Я беру у австрий-

цев. Придет время – и отдам!

– Постой!.. Но при чем же тут ты? Отчего же ты являешься каким-то чуть не главным лицом здесь?

– Главным – нет, – скромно опуская глаза, но самодовольно улыбаясь, ответила Аграфена Петровна, – а одним из главных, может быть.

– Каким же образом? Для этого нужно все-таки иметь положение, ну, хоть при дворе.

– Я его уже имею или все равно что имею! – ответила она и, открыв средний ящик своего столика, достала одно из лежавших там писем. – Прочесть? – лукаво щуря глаза, спросила она мужа.

– Да ну! – нетерпеливо проговорил он.

И Аграфена Петровна, объяснив, что письмо от брата Алексея, стала читать.

«Как к Рабутину отсюда дано знать, – писал Алексей Петрович, – так я к великому двору, дабы он, Рабутин, инструктирован был стараться о вас, чтобы вам при государыне великой княжне цесарского высочества обер-гофмейстериной быть... Вы извольте с упомянутым Рабутиным о том стараться; что же касается меня, и я намерен потерпеть дондеже вы награждение свое, чин обер-гофмейстерины, получите, ибо награждение мое через венский двор никогда у меня не уйдет. Согласитесь с Рабутиным о себе, такожде и о родителе нашем прилежно чрез Рабутина стараться

извольте, чтоб пожалован был графом, что Рабутин легко учинить может».

– Аграфенушка, так это – то самое письмо? – спросил Волконский, краснея.

– Ну, разумеется! А ты что думал?

Аграфена Петровна хотела еще сказать что-то, но муж не дал ей договорить и, вскочив, стал целовать ее.

– Так это ты будешь обер-гофмейстериной при Наталье Алексеевне?! – проговорил он наконец.

– Ну, да, при сестре великого князя.

Волконская сияла и вследствие состоявшегося примирения с мужем, и вследствие радостных надежд, которые теперь, при разговоре о них, снова взволновали ее. Она была искренне рада и ей захотелось увидеть сочувствие в муже, ей захотелось, чтобы и он радовался вместе с нею.

Но Никита Федорович только улыбался жене, как улыбается взрослый человек, смотря на восторг ребенка, восхищенного, положим, тем, что ему удалось соорудить из чурок высокую башню. Точно так же, как князь Никита не мог бы искренне огорчиться, если бы башня эта развалилась во время постройки, или радоваться, когда она была сложена, – точно так же он не мог радоваться удавшимся планам жены или огорчаться, если бы они не удались.

– И неужели все это тебя тешит? – серьезно спросил он.

– То есть как, *тешит*? – с оттенком обиды спросила Аграфена Петровна.

– Ну, ведь мы же помирились! – сказал Никита Федорович. – Чего же ты обижаешься?

И он снова не дал ей говорить, начав целовать ее.

IV. Курляндское дело

У герцогини Курляндской Анны Иоанновны было много женихов, потому что она являлась одною из завидных невест, принося за собою в приданое курляндскую корону. Говорят, их было до двадцати, но свадьбе каждый раз мешали политические соображения.

Наконец, в 1726 году явился в Митаву молодой, красивый и ловкий граф Мориц Саксонский, прогремевший своими успехами чуть ли не при всех европейских дворах. Он, поддержанный незаконным своим отцом Августом, королем польским, приехал, как претендент на герцогский титул и как жених. С первого же взгляда, с первого же слова герцогиня Анна почувствовала неудержимое влечение к этому человеку, который хотел и мог стать ее мужем.

Казалось, счастье теперь улыбнулось ей. Главного препятствия – непреклонного, неодолимого запрета дяди-императора – не могло быть, потому что дядя уже умер.

У Морица был сильный заступник и покровитель – его король-отец. Следовательно, если только Морица выберут в Курляндии в герцоги, никто не посмеет помешать ее счастью. И курляндский сейм выбрал графа Саксонского. Мориц мог по праву взять за себя и

так долго томившуюся в одиночестве Анну, но вдруг все счастливые грезы исчезают, мечты тают, как дым, а в действительности в Митаву приезжает из Польши Василий Лукич Долгорукий и объявляет выборы незаконными. Мало того, получается известие, что сам Меншиков уже подъехал к курляндской границе. Он сам захотел быть герцогом, и Анне Иоанновне хорошо было известно, что Александр Данилович – не такой человек, чтобы не достигнуть того, чего пожелает. Она уложила самые необходимые вещи и с одной лишь девушкой, в коляске, поехала навстречу Меншикову. Они встретились в Риге.

Однако из этого свидания ничего не вышло для Анны Иоанновны. В Петербурге было получено письмо светлейшего на имя государыни, которое стало известным и в котором Меншиков писал, что после разговора с ним герцогиня, убежденная его, Меншикова, доводами, согласилась, что ей неприлично выходить замуж за Морица, «сына метрессы», и что избрание графа в герцоги Курляндские причинит вредительство интересам российским.

Но почти одновременно вместе с этим письмом пришли в Петербург известия о том, как действует появившийся в Митаве Меншиков. Долгорукий писал своим родственникам, Бестужев – дочери. Левенвольд, имевший в Курляндии немало знакомых и при-

ятелей, получил от них послание с ужасающими подробностями.

Меншиков явился в Митаву, собрал почти насильно депутатов курляндского сейма, грозил им Сибирью и, стуча палкою и крича на них, дерзко требовал своего собственного избрания. Граф Мориц вызвал Меншикова на дуэль, но тот прислал в Митаву 300 солдат арестовать Морица; однако тот отбилсся.

Обо всем этом в Петербурге заговорили, стараясь придать поступкам Меншикова характер чуть ли не покушения на правительственную власть.

Анна Иоанновна, потерпевшая неуспех в Риге, отправилась лично хлопотать в Петербург за своего «Морица». Она знала, что здесь, прямо у государыни, для которой Меншиков был сила, возведшая ее на престол, она, Анна «Ивановна», как звали ее при дворе, ничего не может значить, и ее непосредственное заступничество не принесет никакой пользы. Нужно было действовать через людей, имевших связи и хорошо знавших все ходы, чтобы бороться с волею временщика. Но к кому обратиться?

К заведомым врагам Меншикова – Долгоруким, Голицыным, Анна Иоанновна не решалась, потому что это значило стать в прямые враждебные отношения к светлейшему. Остерман? Но этот немец хотя и может многое сделать, однако постоянно ссылается на

свои недуги и ни для кого ничего не делает, кроме самого себя. Прасковья Ивановна, родная сестра герцогини, у которой она и останавливалась обыкновенно в Петербурге, удалилась от двора с тех пор как вышла замуж за «приватного человека» Дмитриева-Мамонова, и ничем, кроме совета, не могла помочь сестре. В прежнее время Левенвольд мог сделать что-нибудь, но теперь он потерял значение.

– Да обратись к Волконской, княгине Аграфене Петровне, – вспомнила наконец Прасковья Ивановна, – ведь она – дочь *твоего* Петра Михайловича и может, по нынешним временам, многое сделать.

Герцогиня Анна поморщилась. Опять эта Аграфена Петровна становилась на ее пути, непрощеная, но, видимо, необходимая.

– Да разве она может что? – спросила Анна Иоанновна после некоторого молчания.

– Во всяком случае, – пояснила ей сестра, – если и не может сама сделать что, то укажет, как и к кому обратиться.

Анна Иоанновна долго старалась отстранить от себя необходимость ехать к Волконской. Но чем дальше она думала об этом и чем старательнее искала какого-нибудь другого выхода, тем настойчивее казалось ей, что кроме Аграфены Петровны нет другого лица, более подходящего для начала ее дела.

Герцогиня побывала при дворе, сделала визиты всем важным персонам. Везде ее приняли вежливо, но довольно сухо и не дали заикнуться о «деле».

Она не могла знать, что уже началась деятельная работа против ее теперешнего врага. Посвятить ее в эту тайну опасались из боязни какого-нибудь неловкого с ее стороны шага, и она думала с отчаянием, что время проходит даром, и что она ничего еще не сделала.

– Что ж, поеду уж! – сказала она сестре и отправилась к Волконской.

Аграфена Петровна видела из окна, как у ворот ее дома остановилась карета герцогини, как с козел соскочил гайдук и, пробежав по лужам широкого двора, скрылся в подъезде.

«Наконец-то! – мелькнуло у нее. – Давно пора!»

Она знала, что будет нужна Анне Иоанновне и нарочно здесь, в Петербурге, где титул «герцогиня» не значил ничего, не ехала к ней первая.

Аграфена Петровна, отойдя от окна, села на диван, развернув первую попавшуюся под руку книжку.

Лакей, по заведенному порядку, доложил о гостье. Волконская продолжала читать, как будто не слушая.

– Ну, да, просите! – наконец сказала она.

Она не вышла встречать герцогиню, но осталась на своем диване, как была, и только встала навстречу

Анне Иоанновне, когда та вошла к ней в кабинет.

Герцогиня сильно изменилась на взгляд Аграфены Петровны, не выдавшей ее с самого своего отъезда из Митавы. У нее была совсем другая прическа с буклями; правда, герцогиня делала ее себе еще при Волконской, но тогда эта прическа не бросалась так в глаза княгине, как теперь, после нескольких лет, как они не видались. Анна Иоанновна также очень потолстела, и ее лицо стало совсем круглым, с несколько неприятно отвислыми щеками. Прежде она гораздо больше подходила к немецким перетянутым барыням, которые окружали ее в Митаве, а теперь, несмотря на жизнь в иностранном городе, видимо, опускалась и становилась очень похожа на московских барынь, не умевших одеваться в чужеземный наряд и носить шелковые робы с талией. Теперь немецкий титул «герцогиня» как-то особенно не шел ей.

Она вошла красная, тяжело дыша, и казалась взволнованною; она, видимо, чувствовала прием Волконской.

— А я к вам... — начала она и не утерпела, чтобы не прибавить «по делу».

Это значило, что иначе она не приехала бы.

Аграфена Петровна, наружно спокойная, любезно улыбнулась и, как власть имеющая, снисходительно ответила:

– Чем могу служить, ваша светлость?

«Я б тебя растерзала за этот тон», – подумала Анна Иоанновна.

– Вот что, – начала она, сдерживая волнение, – слышали вы, что у нас в Курляндии делается?

Аграфена Петровна давно рассчитала, что явившаяся в Петербург герцогиня, озлобленная Меншиковым, будет живым свидетелем против него и может, если ее направить как следует, быть очень полезною.

– Слышала, – ответила она, – это – ужас!

– Да как же не ужас? – заговорила герцогиня. – Избрали графа Морица... он имеет все права...

– Но ведь ваша светлость уже отказалась от брака с графом Саксонским.

– Как оказалась? – встрепенулась Анна Иоанновна. – Кто это сказал?

– Императрица получила от светлейшего собственноручное письмо, – и Волконская передала в нескольких словах содержание письма.

– Что-о? – воскликнула герцогиня. – Он это написал?... Это – неправда, это не так было!.. Вы знаете Данилыча – явился он ко мне в Риге таким, каким никогда я его не видала... Начал кричать, что Мориц – сын метрессы, что он – мне не пара... Ну, что ж я могла сделать?

– Ну, и вы согласились с ним?

– Да не знаю – говорил больше он, а я молчала. Наконец он сказал, что так и напишет все, как было.

– А видите, что написал он?!

– Так как же теперь быть? – упавшим голосом спросила герцогиня.

Аграфена Петровна пожала плечами. Ей весело было видеть, как эта женщина дрожала теперь перед нею за свое счастье, ожидая помощи от нее, самолюбие которой задевала в минувшие годы.

– Что ж делать, ваша светлость, нужно подчиниться воле светлейшего, – улыбнулась она.

– Как, подчиниться? – почти крикнула Анна Иоанновна. – Где ж это видано, чтобы подданный вертел так царским домом? Что же это? Этак, пожалуй, он и впрямь не только герцогство Курляндское получит, но захочет и еще большего.

– Ну, большего никто ему не даст! – меняя тон, заговорила Волконская, а затем, насколько было нужно, посвятила герцогиню в тайные подкопы против временщика и указала, с кем и как должна говорить Анна Иоанновна, и обещала ей, что со своей стороны делает все возможное, чтобы помочь ей.

Несмотря на всю неприятность своего посещения Волконской, Анна Иоанновна уехала от нее с сознанием, что это посещение было сделано не даром.

У Морица Саксонского оказались в Петербурге еще

защитники, или, вернее, защитницы, которых он, по всей вероятности, и не подозревал. Француженки, состоявшие при цесаревне Елизавете и великой княжне Наталии, были без ума от подвигов Морица, слава которого дошла до них. Они постарались настроить в пользу того, вдобавок опоэтизированного их французскою фантазией, героя своих воспитанниц, которые таким образом со своей стороны явились невольными заступницами графа Саксонского пред государыней.

Все эти люди, питавшие в силу самых различных причин ненависть к Меншикову, зашевелились в его отсутствие и начали свою работу.

Волконская с утра выезжала из дома или принимала у себя, суетилась, действовала, беспокоилась и волновалась, с тревогой ожидая, чем кончится вся эта история, которая имела большую возможность успеха.

Она боялась еще торжествовать и радоваться, но, предчувствуя победу, все время была особенно в духе и выказывала горячую лихорадочную деятельность.

Ее удивлял Рабутин. Несмотря на то, что все, по видимому, шло очень хорошо и светлейшему была поставлена очень хитрая ловушка, из которой он едва ли мог уйти, Рабутин не принимал деятельного участия во враждебных Меншикову происках и ниче-

го, даже тайно, не предпринимал в помощь Аграфене Петровне. Сколько ни пробовала она говорить с ним серьезно, он или отшучивался, или ссылался на то, что Меншиков – князь Священной Римской империи и потому он не может действовать против него, не имея на то прямых инструкций от своего двора. Но Волконская знала, что это – вовсе не настоящая причина поведения Рабутина. Она догадывалась, что австрийский посол просто не верит в возможность падения временщика и потому считает напрасными все направленные к этому усилия, которым он, впрочем, не желает и противодействовать. И Аграфена Петровна удивлялась, как может он думать так, когда успех предприятия был несомненен, и старалась «вывести» австрийца на *настоящую* дорогу. Она хотела – и он должен был во что бы то ни стало подчиниться ей. Она находила его слишком молодым, несмотря на то, что он был на самом деле старше ее, и так была уверена в себе и в верности своих расчетов, что считала долгом своим для пользы и общей, и самого Рабутина, руководить им.

Рабутин на общественных собраниях был всегда очень внимателен к Аграфене Петровне. Сначала он попробовал было особенно приблизиться к умной и милой русской княгине, но Волконская очень ловко сумела обойти это и удержала молодого графа в долж-

ных границах, оставшись, однако, в прежних с ним отношениях.

Рабутин видел, что все-таки она может быть полезна ему, и потому продолжал оставаться возле нее, хотя их отношения держались чистою связью одних и тех же интересов и цели, что, впрочем, не мешало вести остроумную беседу, в которой Рабутин щеголял своею любезностью, не умея иначе разговаривать с женщинами.

Но собственно для своего влюбчивого сердца он должен был избрать другой предмет.

Волконская сошлась в последняя время с Марфой Петровной Долгоруковой, дочерью Шафирова, которая была озлоблена против Меншикова за сделанные им ее отцу неприятности и готова была всеми силами отмстить светлейшему. Аграфена Петровна часто вечером заезжала к ней и оставалась, рассказывая то, в чем успела за день.

Июль был уже на исходе, когда Волконская явилась к Марфе Петровне с известием, что Меншикову послан указ немедленно вернуться в Петербург.

– Вы поймите, – сказала она Долгоруковой, – это очень важно. Он, вероятно, не послушается, и тогда ему конец. Государыня так уже подготовлена, и все обставлено...

Несмотря на всю свою нелюбовь к Меншикову Мар-

фа Петровна слушала слова княгини довольно рассеянно, Правда, Волконская уже давно сидела у нее, и они, казалось, обо всем успели переговорить и рассмотреть известие об указе со всех сторон, но Волконской все еще хотелось говорить об этом.

– Что это, вам не по себе, кажется? – спросила, наконец, она, замечая скупающее и нетерпеливое выражение в глазах Долгоруковой.

– Устала я, – коротко ответила та. Аграфена Петровна начала прощаться с нею.

– Ну, до свидания, голубушка, дай вам Бог и на завтра успеха! – сказала по обыкновению Марфа Петровна, провожая свою гостью до лестницы, а затем вернулась к себе в маленькую гостиную и поспешно подошла к большим стеклянным дверям, выходящим в сад на террасу.

На дворе стояли сумерки июльской ночи. Небо было безоблачно, но в саду, под черным кружевом тихих деревьев, казалось все-таки настолько темно, что Марфа Петровна приложила обе руки к стеклу и прислонилась к ним, чтобы заглянуть в эту темноту. Все было тихо кругом.

Долгорукова неслышно отворила дверь и вышла на террасу. Странная таинственность ночи охватила ее, и она почувствовала какую-то жуткость, точно щипнувшую ее за сердце. Но она подавила в себе непри-

ятное чувство и подошла к перилам.

В глубине аллеи послышались твердые, видно, привыкшие к дороге, но осторожные шаги.

«В мире есть одна лишь сила,
Гордый дух подвластен ей», –

вполголоса, как бы про себя, пропела по-немецки Долгорукова.

«То улыбка вечно милой,
Нежный взгляд ее очей», –

подхватил также тихий голос из сада, и вслед за тем на ступеньки террасы поднялся Рабутин.

Марфа Петровна двинулась ему навстречу.

– Не люблю я этих ваших ночей, сырых и полусветлых, – заговорил Рабутин, входя за Долгоруковой в гостиную, как свой, как давно ожидаемый и желанный. – Ты не долго ждала меня? – с улыбкою спросил он, скидывая свой плащ.

– Нет, от меня только что уехала Волконская, – ответила Марфа Петровна, садясь на небольшой диванчик. – Ну, иди сюда, здравствуй!..

Они говорили по-немецки.

– Ну, что ж, она все о его падении хлопочет? – сказал Рабутин, подходя к Долгоруковой и садясь рядом

с нею.

– Конечно, мы все хлопочем... дело идет к развязке... ему послан уже указ, все идет как нельзя лучше...

Рабутин покачал головою.

– Ну, вот, ты всегда не веришь! у тебя вечные сомнения! – сказала капризным голосом Марфа Петровна. – А ведь, кажется, все так ясно!..

Ее восточные, красивые черные глаза блестели уверенностью и улыбкой, и все лицо сияло особенною – несвойственную европейским, надоевшим Рабутину, женщинам, – красотою; только рот с чуть выдавшаеюся, но отнюдь не портившей ее, нижнею губою, сложился недовольно складкою. Она была недовольна на него за его противоречие.

– Я удивляюсь одному, – серьезно заговорил Рабутин, – как вы все не понимаете, что *теперь* так же немислимо побороть этого господина, как нельзя остановить щепкой течение большой реки. Царица отлично понимает, что, оттолкнув его, она все потеряет, а если и не понимает этого, то герцог Голштинский с Бассовичем объяснят ей, хотя бы из чувства самосохранения. Ведь и они пропадут тогда. Наконец, Меншиков силен в гвардии... А, да ничего из этого не выйдет! – махнул он рукою.

Долгорукова окончательно рассердилась.

– Я тоже удивляюсь тебе, Густав, – возразила она, – ты вот уже сколько времени в Петербурге и ведь, собственно, ничего еще не сделал для великого князя, ни даже для договора, который служил официальной причиной твоего приезда. Скажи, пожалуйста, зачем же ты приехал сюда?

Глаза Рабутина сощурились, и он улыбнулся, весело глядя на ее сердитое уже лицо.

– Может быть, лишь для того, чтобы судьба свела меня с тобою, я приехал сюда, – ответил он, продолжая улыбаться и смотря прямо ей в глаза. – А вот пришел я к тебе вовсе не для того, чтобы ссориться теперь, – и он ласково потянулся к ней и хотел взять ее руку, но Долгорукова отдернула ее.

– Ты знаешь, что я терпеть не могу этого человека, и не успокоюсь до тех пор... – начала она.

– Всею свое время, – перебил ее Рабутин. – Придет и ему черед, но пока я должен сделать наследником великого князя и сделаю это! – с оттенком немецкого пафоса произнес он.

Долгорукова ласково взглянула на него.

– Знаешь, Густав, когда ты говоришь о делах, мне всегда кажется, что ты старше, чем ты есть... Но будет о них...

И они перестали говорить о делах.

V. Проповедь духа

Прошло немного времени – и Рабутин оказался совершенно прав. То глубоко обдуманное и обеспеченное в своем успехе «дело», над которым с таким рвением хлопотали Аграфена Петровна, явилось пустым и вздорным, и в действительности оказалось серьезным только для тех, кто им занимался, но не для того, против которого направлены были эти, в сущности, усилия. Меншиков вернулся из Митавы в конце июля, и ни одно из ожиданий его врагов не оправдалось.

Императрица Екатерина, должно быть, привыкшая к подчинению при покойном своем супруге, постоянно чувствовала необходимость опираться на твердую руку с непреклонною волею, а такую руку являлся, несомненно, Меншиков, воспитанный в суровой школе Петра.

И австрийский посланник понял это. Партии великого князя он объяснил, не щадя ни слов, ни издержек, какую силу будет иметь она, если на ее сторону перейдет Меншиков, а Меншикову подсказал мысль выдать свою дочь за великого князя и первый заговорил об этом во всеуслышание, как о деле весьма возможном и ничуть не удивительном тем более, что за жениха Меншиковой, красавца Сапегу, императри-

ца желала выдать свою племянницу – Скавронскую. И вот, по воле Рабутина, прежние друзья стали врагами, а враги – друзьями. Меншиков сошелся с Голицыным, Долгоруким, а Толстой, Апраксин и прежний союзник Меншикова, герцог Голштинский, оказались его открытыми врагами. К ним примкнули Бутурлин, обойденный Меншиковым по службе, и Девьер, женатый на родной сестре светлейшего, озлобленный против него за постоянные оскорбления, которые он наносил ему. Анна Иоанновна, ничего не добившись, уехала обратно в свою Курляндию.

Волконская смутилась и потерялась. Не послушавшийся ее Рабутин, которого она хотела вести и направлять, оказался досадно и обидно прав. Ничтожная, слабая, как вышло теперь, попытка ее получить долю влияния на высшие события была точно неудачною попыткою, а вовсе не серьезным государственным делом. Аграфене Петровне казалось, что тут-то и есть самое настоящее, которое так сразу, сейчас – стоит лишь съездить сюда, побывать там – и придет к ней; но «настоящее» было, очевидно, в руках этих Меншиковых, Рабутиных и им подобных, а для Волконской, как доской, прихлопнулись высшие цели и планы. Она могла хлопотать о звании гофмейстерины себе, о графском титуле для отца, сообщать брату в Копенгаген о том, что делалось в Петербурге; но

свергнуть Меншикова ей было не под силу. И как она не могла подумать об этом раньше?

Она сердилась на себя, на Рабутина, на Долгорукову, на всех, и несколько раз поссорилась в это время с мужем.

Но вместе с тем она сознавала, что из всех ее благоприятелей самые сильным и по значению, и по положению был все-таки Рабутин. И вот, вместо того чтобы «вести» его или «направлять», ей пришлось употребить все свои усилия думать об одном лишь, чтобы этот человек остался для нее благоприятным и, удержавшись и получив значение избранным им самим путем, оказывал ей *поддержку*. Сознаться, что это было просто покровительство, она даже сама пред собою не хотела.

После своей ничем не кончившейся суеты Аграфена Петровна вдруг увидела, что у нее стало очень много свободного времени, после того как она минуты – казалось ей – не имела покоя.

Она не то что упала духом, но сделалась капризна, скучна и нервно-обидчива. С сыном она всегда была ласкова и единственно на него не сердилась. Князь Никита внимательно следил за состоянием ее души, ни о чем не расспрашивал, не старался узнать внешние причины ее состояния, но ему было ясно, что именно происходило в его Аграфене Петровне, и

он был доволен этим. Судьба, казалось, сама вела ее к тому, чему она не могла поверить в слова Никиты Федоровича. Он ждал, утешал ее, когда было нужно, и терпеливо переносил ее вспышки и раздражение.

Аграфену Петровну раздражали в муже его спокойствие, отсутствие суеты и постоянство. Пред нею, на ее глазах, были два совершенно различных человека: один, князь Никита, как будто ничего не делавший и вместе с тем занятый целый день, и другой – Рабутин, всегда веселый, самоуверенный, беззаботный, всегда свободный, но «делавший очень много». У каждого из них, казалось, была своя особая цель, и каждый шел к ней, не сбиваясь и не спеша. При этом в них обоих, как ни казались они различны, было что-то общее – это мужское, упорное терпение, выдержка, может быть, воля – обижавшее ее женское самолюбие. С этим неуклонным «чем-то» нужно было примирить свою горячность и подчиниться, вместо того, чтобы «подчинить» себе и направлять.

Она знала, что так же, как она может добиться от Рабутина, если захочет, звания для себя или титула для отца, она может заставить мужа сделать какой-нибудь расход, прийти просить к ней прощенья, когда, пожалуй, сама виновата пред ним; но самое суть их деятельности она не в силах была изменить.

Рабутин ей был совсем чужой человек. Князь Ники-

та был муж, которого она любила, и, несмотря на то, что она ни в чем так не горячилась, то есть не сердилась, как говоря с ним, потому что ни с кем не могла и не умела говорить, ничего не утаивая, откровенно – все что есть на душе, – несмотря на это, никто не мог ее так успокоить, как муж, и ни с кем ей не было так хорошо и светло, как с ним.

Она, в особенности теперь, скучая открывшимся для нее свободным временем, часто вечером приходила к нему, садилась сзади него на диван, и он обращивался к ней и заговаривал, причем всегда о чем-нибудь своем, запутанном, но светлом и хорошем, производившем успокоение.

Тогда, при виде этой его заваленной книгами, заставленной склянками и ретортами комнаты, где среди простых стульев и столов стояла одна мягкая кушетка для нее, – при виде его худого, с большим ртом и горбатым носом лица, освещенного каким-то внутренним, знакомым и милым ей огнем вдохновения и улыбкой смотрящих в душу добрых серых глаз, – Аграфена Петровна переносилась в иной мир, далекий от всего, что было за рубежом этой комнаты, и ей дышалось легче, и она любовалась своим князем Никитой, потому что знала: «Вот он каким был!»

Раз как-то он особенно понравился ей. Это было после того, как она, когда в ней улеглась поднятая

неудачею желчь, рассказала ему всю историю.

Волконский выслушал жену не перебивая, зная, что нужно дать выговориться ей и что после этого ей будет легче.

– Господи, сколько во всем этом потрачено даром силы! – когда она кончила, проговорил он, откидывая назад свои белокурые, лежавшие неправильными прядями, волосы, которые он, перестав стричь, давно перестал также прятать под парик. Затем он встал со своего места и с обрадованным лицом подошел к жене. – Знаешь что, Аграфенушка, – заговорил он своим особым, «внутренним», как она называла, голосом, садясь возле нее на кушетку, – я сколько раз замечал, что, когда ты вот так приходишь ко мне, я всегда читаю в этот час именно то, что тебе нужно, то есть то, что я могу рассказать тебе в ответ на твой рассказ. Это выходит все равно, как вот в таком случае: когда на что-нибудь не находишь ответа – возьми хорошую книгу и открой на первом попавшемся месте, и всегда выйдет удивительно верно, и все станет ясно.

– Ну, о чем же ты читал? – спросила Аграфена Петровна.

– А вот сейчас: ты знаешь, как жил святой Алексей Божий человек? Это удивительно! Его отец был в Риме знатным и богатым лицом. Его невеста была прекрасна и из царского рода... И он добровольно отрек-

ся и от знатности, и от богатства, и от всего и ушел нищим в далекий город, где стал питаться, чем Бог послал... Как ты думаешь, что труднее: отречься от богатства и почестей, когда они уже есть, или достичь их, когда их нет? И для того, и для другого нужно то, что немцы называют Energie³, но для первого нужно ее в гораздо большей мере. Слушай дальше!.. Святой Алексей молился, постоянною молитвою угодил Богу и своею жизнью стал известен. И вот совершенно с другого конца подползает к нему, к его духу, то есть соединенному с плотью, новое земное искушение – то, что люди называют славою!.. Понимаешь ли, он достиг опять иным путем, уже не богатством и знатностью, но лишением, нищетою того же, то есть славы, известности, значит, известных почестей, потому что он сделался чтимым... Постой, не перебивай, – остановил князь Никита жену. Он встал со своего места и продолжал стоя: – И что же сделал Алексей? Он ушел от этого соблазна; он удалился в Рим и там был принят в дом отца, где его не узнали; как нищий, как убогий, как странник, он жил в этом доме. Слуги смеялись, издевались над ним, даже били его. Он мог одним словом, открыв себя отцу, снова каждую минуту получить обратно все, от чего отказался, и уничтожить, стереть тех самых слуг, которые потешались

³ Энергия.

над ним, но не делал этого потому, что ему *не нужно* было богатства здешнего, земного, потому что он так глубоко сознал, что все это – суета: и богатство – суета, и то, что люди называют славой, и то, что они называют оскорблением, – все суета!.. Послушай, Аграфенушка, ведь если наша жизнь не здесь, не на земле, а тут для нас лишь короткое испытание, то до чего мелки, до чего ничтожны покажутся все эти и оскорбления, и богатства, и я не знаю, еще что. Господи, человеку дана сила, энергия; он может усыпить ее в себе – это редко бывает, но бывает. Затем у него две задачи: он может направить свою силу или к достижению того, что требует его тело, или того, что нужно для его духа. А что тут важнее: тело или дух, – дух, который один вечен, вечен, вечен...

Князь Никита говорил, стараясь не словами, но голосом, всем существом своим передать ей то, что было у него в душе в эту минуту, и то, что он – сколько бы ни подбирал слов – все-таки не мог объяснить, как ему хотелось, этими *человеческими* словами, придуманными для здешних, земных понятий и стремлений...

Аграфена Петровна смотрела на его просветлевшее лицо, на его раскиданные волосы и дышавшую силой и уверенным сознанием фигуру – и любовалась им. Он всегда был особенно мил ей в такие минуты.

Эта беззаветная вера, это какое-то увлекающее, горящее в его душе чувство, это упорное стремление – действовали на нее таинственно и загадочно, и бывали минуты, что она забывалась вместе с ним, и что-то легкое и свободное начинало шевелиться в ее груди, точно она, отделившись от земли, без страха и трепета поднималась на воздух.

Подчас, когда муж говорил так с нею, слезы навертывались у него на глазах, и она незаметно вытирала и свои тоже влажные глаза. Тогда она почти соглашалась с ним. Но всегда случалось так, что дня через два какие-нибудь обстоятельства, как нарочно, выступят и увлекут свою «земною» серьезностью.

Так случилось и на этот раз.

После этого памятного Аграфене Петровне разговора она вскоре получила от отца известие, что Меншиков, недовольный Петром Михайловичем, который, по его мнению, недостаточно поддерживал в Курляндии его стремления, обвиняет его в злоупотреблениях по управлению имениями герцогини, и дело это должно разбираться в Верховном тайном совете. Бестужев писал, что сам едет в Петербург, а пока просит дочь сделать с ее стороны все, что она может сделать, не отлагая и не медля.

Аграфене Петровне через Рабутина легко было устроить дело отца и выгородить его. Петр Михайло-

вич приезжал тогда в Петербург, пробыл здесь месяца с два и, вернувшись в Митаву, застал там молодого Бирона, захватившего всю силу при дворе герцогини Курляндской.

Неприятности Петра Михайловича сильно повлияли на материальное благосостояние Волконских. Аграфена Петровна убедилась, наконец, что нужно сократить расходы. Впрочем, эти расходы сократились отчасти сами собою. Княгиня стала меньше выезжать и не делала больших приемов. У нее собирались только по-прежнему ее друзья. Волконская, переговорив о многом с отцом в его приезд, притихла и даже нарочно старалась оставаться в стороне, заботясь лишь о поддержании сношений с Рабутиным и близко стоявшими к великому князю людьми, между которыми был и Маврин, обиженный теперь своим подчинением Остерману, назначенному Меншиковым в звании обер-гофмейстера к великому князю. А затем она решила выждать, что будет.

VI. Подметное письмо

Шестого мая 1727 года, в девять часов пополудни, государыня скончалась.

Все меры были приняты, и великий князь взошел на всероссийский престол беспрепятственно. Меншиков стал верховным, полноправным правителем государства. Юного императора он перевез к себе в дом на Васильевский остров.

Едва лишь окончились тревоги первых дней, светлейший призвал к себе Остермана.

– Ну, барон, Андрей Иванович, мне нужно с вами очень серьезно поговорить, – сказал он ему, приведя к себе в кабинет и заперев двери.

На вид хилый, больной, казавшийся старше своих лет и постоянно твердивший о своих недугах, Остерман казался теперь несколько бодрее обыкновенного.

– Что нужно, о чем, собственно? – спросил он.

Меншиков только что позавтракал и, тяжело дыша, опустился в кресло. Он страдал одышкой.

– Нужно будет подумать о науках императора: ведь это – серьезное дело.

– Я думаю, – начал Остерман, разглаживая свой синий камзол и оправляя кружевные манжеты, – что не следует спервоначалу налегать на него. Можно ис-

пугать ребенка наукой, и тогда ничем уже не приохотишь, а так, понемножку, понемножку...

– Конечно, понемножку, – не столько согласился, сколько повторил последние слова барона Меншиков, не перестававший тяжело дышать.

– Я представлю свой план, – продолжал Остерман, – и, согласно этому плану, увидим... Нужно отдать справедливость Петру Алексеевичу: он очень мало знает. Маврин точно ничего не делал.

Меншиков рукою махнул.

– Не нравится мне этот Маврин, ох, не нравится! – снова заговорил барон. – Эти постоянные сборища у Волконской...

– Да-а, – подтвердил светлейший, – я кое-что знаю про княгиню Аграфену – так, что ли, зовут ее? (он нарочно сделал вид, что не помнит имени Волконской) – в письмах у Девьера есть и ее цидульки... ничего – изрядные...

– Да тут не одна Волконская, – положим, она составляет центр, – а вот и Ганнибал, тут их несколько, – возразил Остерман. – Они затеяли с Мавриным очень опасную штуку, знаете, вот как ястребы круги делают, и все уже, уже, а потом и ударят в точку. Так вот и они вокруг императора, да уже давно, все свои руки суживают.

– Так что ж, взять их, как других взяли! – выговорил

Меншиков сквозь свою одышку.

Остерман, подняв углы губ, смотрел на светлейшего несколько времени молча. Глаза его улыбались.

– «Взять», «взять»! – тихо повторил он наконец. – Все у вашей светлости одна сила на уме. Во-первых, нужно придумывать причины для ареста, во-вторых, неудобно пред Рабутиным – он Волконской не выдаст.

– Я посмотрю, как кто-нибудь посмеет помешать моему приказанию, – вдруг возвысили голос Меншиков, – велю, да и все тут.

– Нет, светлейший князь, нет, – покачал головою Остерман, – все-таки нельзя везде все одно только силой делать. Ну, и что же за охота женщину арестовывать?... как-то неловко даже. Нужно иногда и страсти человеческие принять во внимание: это – очень хороший инструмент для игры... им хорошо пользоваться. У Волконской есть муж...

– Справлялся я о нем, – снова махнул рукой Меншиков, – никуда не годный человек, сумасшедший какой-то.

– Ну, я думаю, не совсем! Я имею кое-какие сведения... Ну, так вот, нужно ему открыть глаза на шашни его жены с Рабутиным, а там и посмотрим, что за история выйдет. Волконский – я его знаю немножко – не выдержит, и у него произойдет что-нибудь с Рабутиным. А тогда граф перестанет быть заступником кня-

гини или же Волконский увезет в деревню Аграфену Петровну, а без нее вся компания рассыплется.

– Делайте, как знаете, Андрей Иванович, – решительно проговорил Меншиков, – пока мне эта компания не опасна, а если только замечу что, так просто пошлю забрать их, да и дело с концом.

Через несколько дней после этого разговора князь Никита получил подметное письмо.

«А не худо бы, сиятельный князь, – говорилось в письме, – присмотреть изволить за женкою своею, потому она не православным дело занимается, и цесарский посланник Рабутин, граф, сильную ситуацию при ней имеет. Некрасиво, князь! Слабость мужнина довела оную до греха...»

Князь Никита не дочитал письма и, скомкав его, бросил на пол.

Это было вечером. Аграфена Петровна уехала к Долгоруковой и не возвращалась еще.

Если бы она была дома, если бы князь Никита мог сию минуту пойти посмотреть на нее или призвать к себе, – он, может быть, взглянув на ее улыбающееся лицо, рассмеялся бы сам и, ничего никому не сказав об этом глупом письме, успокоился бы. Но он был один. Миша уже лег спать.

Никита Федорович ходил по своей комнате, стараясь не волноваться, но чувствовал, что волнуется с

каждым шагом все больше и больше.

В жене, разумеется, он был уверен. Конечно, все указанное в письме было вздор и клевета. Но каким образом, как могла эта клевета коснуться его Аграфены Петровны? Кто осмелился кинуть грязью в нее, чистую и милую? Мало того, если могло получиться такое письмо, – значит, вокруг его жены, его княгини, ходила эта дерзкая возмутительная сплетня. Были же и причины для нее. Сама Аграфена Петровна не могла подать повод ни к чему предосудительному. Значит, во всем был виноват Рабутин. Он своим поведением, этою своею прилично развязностью, а может быть, – полунамеками, улыбками и подмигиванием в холостом кружке, дал зародиться этой возмутительной сплетне. Конечно, иначе и быть не могло. Рабутин виновен. И страшная злоба против Рабутина подымалась в груди Никиты Федоровича.

Он все продолжал ходить по комнате. Скомканное письмо лежало под столом молчаливым подстрекателем его злобы. Едва князь Никита успокаивался, как оно попадалось на глаза и снова переворачивало всю его душу.

А Аграфена Петровна, как нарочно, не ехала.

Наконец Волконский поднял этот комок и бросил его в печку.

«Нет, – пришло ему в голову, – люди могут достать

как-нибудь и прочесть».

Он открыл заслонку, с трудом вытащил из глубины холодной печи письмо и сжег его на свечке. Но и теперь ему не стало легче.

Мысль о том, что сплетня, разговоры и пересуды существуют про женщину, носящую его имя, не оставляли его.

Но что было делать с этим?

«Какой вздор обращать внимание на подметное письмо!» – пробовал думать князь, но сейчас же к ужасу своему сознавал, что тут дело не в подметных письмах, а в той причине, в тех очевидных толках, которые служили поводом к нему.

Главное, что ужасало Волконского, – это полная невозможность сделать что-нибудь, чтобы уничтожить эти толки. Казалось, говорили все, вероятно, все, но определенное лицо нельзя было найти. Остался один Рабутин, против которого можно было направить свою злобу... Но что сделать с ним?

«Вызвать на дуэль? – с улыбкой, с насмешкой над самим собою, спрашивал себя Волконский. – Пойти и сказать ему, чтоб он не смел... но что не смел?... Ах, как глупо, как скверно!» – повторял себе Никита Федорович, проклиная этого Рабутина.

Аграфена Петровна вернулась довольно поздно от Долгоруковой. Она прошла прямо к мужу и застала

его стоящим посреди комнаты. Как только она пошла, он кинулся к ней и, взяв больно за руку, притянул ее к себе.

– Аграфенушка! – заговорил он изменившимся, страшным, сдавленным голосом. – Скажи мне, как меня и сына любишь, что у тебя *ничего* не было с Рабутиным.

Аграфена Петровна, озабоченная еще своим делом и разговорами с Долгоруковой, не сразу поняла, чего от нее хотят.

– То есть как *ничего*? – спросила она наконец.

Никита Федорович тут только заметил, что требовал от жены, чтобы она своею к нему любовью подтвердила эту же любовь.

– Ах, нет, не то! – воскликнул он, хватаясь за голову.

– Да что с тобою, что? – уже беспокойно обратилась к нему жена.

Волконский напряг все силы, чтобы овладеть своими словами и прийти в состояние – говорить, думая о том, что говорит.

– Постой, сядь вот тут, не тревожься! – начал он, успокаивая жену, как будто не он, а она главным образом тревожилась. – погоди!.. Представь себе, если бы все, – он сделал кругообразное движение рукою, – начали говорить, что... что ты *изменила*, мне, – с трудом проговорил он наконец.

– Это была бы клевета, – спокойно ответила княгиня.

– Знаю, уверен в том... но с этой клеветой нужно считаться... нельзя оставить ее...

– Конечно, – нехотя возразила Аграфена Петровна, – но только что тебе за охота создавать себе еще тревогу?... мало ли что было бы, если бы было, да пока этого нет... Я веду себя...

Она не договорила, потому что вдруг подумала о Рабутине и вспомнила, что при всей чистоте своих отношений к нему она с удовольствием видела, как этот красивый, молодой австрийский граф ухаживал за нею на собраниях, и знакомая уже краска покрыла ее щеки.

– Ну, а если есть, если я не выдумал это? – не переставая волноваться, снова сказал князь Никита.

– Полно, что там есть!.. дался тебе этот Рабутин! – начала было Аграфена Петровна.

При этом имени, назвать которое нарочно теперь избегал князь Никита, злоба его поднялась, и он, снова теряя способность владеть собою, заговорил, не помня себя:

– Так знай же, что в городе только и говорят про это, что я *получаю* подметные письма, что ты сделалась сказкой.

Он с каким-то даже наслаждением говорил теперь,

преувеличивая и чувствуя каждое свое слово, приносившее ему несказанное мучение и боль.

Аграфена Петровна сначала испуганно взглянула на мужа, потом как бы молния пробежала по ее лицу, и она, гневно сдвинув брови, заговорила, точно не желая оставаться в долгу пред мужем в отношении неприятных известий. И у нее было чем испугать его.

– Ну, и что же? Там какие-то сплетни, – заговорила она, – а у меня дело серьезнее... Меншиков принимает крутые меры: вышел указ, по которому из-за ничего Девьера, Толстого, Бутурлина, Нарышкина и еще многих ссылают... и со мной не поцеремонятся... и меня арестуют...

Это слово «арестуют» княгине тоже приятно было выговорить: оно звучало так торжественно-значительно и вместе с тем было страшно.

Никита Федорович взялся за голову.

Аграфена Петровна с улыбкой, без жалости посмотрела на него, потому что сознавала, что не ей теперь, а «ее» следует жалеть.

– Но что же делать теперь? – протяжно, с отчаянием произнес князь Никита.

– Что делать? – вставая и вскинув руками, сказала Аграфена Петровна. – Не уступать и бороться.

Вслед затем она медленно повернулась и ушла к себе.

Князь Никита не скоро еще отнял руки от головы и огляделся.

«Слишком далеко, слишком далеко зашло дело, – повторял он себе, – во всем виноват сам... Господи, зачем приехали сюда мы! Зачем этот Петербург!»

«Уехать из этого омута, уехать завтра же, навсегда! – пришло ему в голову, и он было обрадовался этой мысли, но затем подумал – Да, уехать, но это будет просто позорным бегством, которое ничему не поможет, – имя жены останется все-таки с прилипшею к нему сплетней, и бежать от неприятных обстоятельств – вовсе не значит победить их. Боже мой, что же делать?»

Часы шли, Никита Федорович забыл, что наступила ночь, забыл про сон. Он сидел у своего стола, облокотившись на руку, и ничего, казалось, не видел своими открытыми, не смыкавшимися глазами. Наконец он поднял их. В комнате был особенный синеватый свет, которого он не ожидал. Его поразили квадраты окон, они, как будто еще так недавно, с вечера темные, теперь были совсем светлыми. А произошло это оттого, что рассвело. Восковая свеча на столе горела красным, тусклым пламенем, потерявшим всю свою яркость и силу.

Князь Никита потушил свечку, и на минуту словно от этого ему стало легче. Он поднялся со стула и поста-

рался вытянуться. Он чувствовал в ногах и руках какую-то болезненную, ноющую усталость, голова кружилась.

Князь Никита, не ощущая в себе желания сна, медленно прошел на половину к жене по освещенным уже рассветом комнатам и, тихонько приотворив дверь, заглянул в ее спальню. Комната была темна от спущенных гардин. Никита Федорович, присмотревшись, разглядел белый кружевной чепчик жены и, наконец, ее лицо с закрытыми глазами и неподвижно разжавшимся ртом. Аграфена Петровна, тяжело дыша, спала... Нагоревшая, оплывшая свечка, видимо, была недавно потушена – Аграфена Петровна тоже провела почти сплошь бессонную ночь.

Князь Никита издали перекрестил ее и на цыпочках, стараясь не задеть за мебель, вернулся к себе, потом взял шляпу, трость и вышел из дома.

Был шестой час утра, Петербург только что просыпался. Солнце уже взошло, блестя своими лучами, но не грело ими. Князь Никита пошел без цели, без мысли, он рад был, что мысли оставили его.

По мере того как он шел, улицы все больше и больше оживлялись.

Князь Никита сосредоточивал все свои способности мышления на то, куда повернуть, когда приходилось дать дорогу встречным, или как обойти попадав-

шуюся под ноги лужу; больше он ни о чем не мог думать, ни даже о том, куда и где идет он.

Он очутился таким образом на Березовом. Здесь уже было очень многолюдно. Прохожие то и дело попадались навстречу, а недалеко впереди у рынка стояло много людей. И вдруг откуда-то сзади раздался дребезжащий, рассыпавшийся, слышный все ближе и ближе барабанный бой. Князь Никита оглянулся. По улице приближались мерным шагом, с рядом барабанщиков впереди, солдаты, блестящие на солнце своими пуговицами и вооружением. Из-за их киверов виднелось что-то высокое, темное, подвигавшееся сзади с мерным колыханием, точно гроб на погребальных дрогах.

Князь Никита посмотрел снова вперед, – там, где стояли, скучившись, люди, теперь возвышался над ними на помосте у столба палач, в красной рубахе с засученными рукавами.

Барабанный бой становился слышнее и слышнее. С Волконским поравнялась шеренга барабанщиков, отбивавших молодежато, со старанием, мелкую дробь. За ними (они шли очень скоро) промелькнули солдаты, за солдатами две тощие лошадки везли черную телегу с высокою скамейкой, на которой сидел со связанными назад руками, в каком-то темном длинном одеянии живой человек, бессильно покачиваясь

все на одну сторону при каждом толчке телеги.

Никита Федорович поднял на него взор.

Знакомое, но теперь бледное, жалкое, осунувшееся лицо Девьера глянуло на него с высоты позорной телеги. Зрачки несчастного подкатились под верхние веки, и рот точно улыбался тою кривою, якобы *спокойною* улыбкою, в которую предсмертная судорога сводит обыкновенно губы покойников. Но Девьер был жив. Грудь его тяжело и неровно дышала, брови изредка поднималась, и тогда на его лице являлось какое-то испуганно-детское выражение.

Князь Никита остановился. Он понял и сознал, что происходило пред его глазами; но вместе с тем, несмотря на это сознание, в его голове мелькнул совершенно лишенный здравого смысла вопрос:

«Куда это едет Девьер?»

Телега проехала, стуча колесами. Барабаны трещали несколько дальше, и Волконского со всех сторон охватила спешившая за телегой толпа, бежавшая с лестницами, скамейками и табуретками, чтобы было на чем стать и лучше видеть предстоящую казнь. Эти раскрасневшиеся от скорого бега лица, жаждавшие готовившегося зрелища, эти дикие крики и брань, это исступление, которым была охвачена толпа, точно вдруг отняли у Волконского воздух, которым он дышал, в глаза помутилось, и он закачался.

Сильный толчок в грудь заставил его опомниться. Какой-то рыжий детина в кожаном фартуке столкнулся с ним и, обругавшись, бежал уже дальше. Толпа замяла в своей середине Волконского и повлекла его к месту казни.

Там уже вводили Девьера на помост. Он, по-прежнему подергивая бровями и тяжело дыша, не подавал никаких других признаков жизни, ступая в гремевших кандалах, точно не он, а кто-нибудь другой двигал ногами. Его подвели к столбу. Палач быстро и скоро развязал ему руки и, приподняв, продел их в железные, привязанные высоко к столбу, кольца. Палач сделал это с серьезным, сосредоточенным лицом, видимо, стараясь только как можно лучше и добросовестнее исполнить свою обязанность. Потом он отошел несколько в сторону и протянул вбок, не глядя, правую руку. Молодой парень, тоже в красной рубахе, очевидно, помощник палача, поспешно вложил в эту руку тяжелую ременную плеть.

Князю Никите были хорошо видны затылок коротко стриженной головы Девьера и его белая, мускулистая, освещенная солнцем спина, когда именно и кем обнаженная – Волконский не заметил.

Барабаны перестали бить. Только что гудевшая на разные голоса толпа безмолвствовала, и в наступившей тишине поразительно ясно раздался свист под-

нявшейся плети.

– Раз! – рявкнула толпа в один голос.

Плеть свистнула снова, а на той белой спине, на которую глядел, как сумасшедший, Никита Федорович, вздувался уже, багровея от притекавшей крови, широкий рубец первого удара.

Князь Никита отвел глаза, посмотрел вокруг себя и встретился с ухмылявшимся, противным лицом одного из своих дворовых. Больше он ничего уже не помнил.

VII. Смерть

Никита Федорович очнулся у себя в комнате. Он открыл глаза и сейчас же узнал эту комнату, несмотря на то что в ней многое переменилось, – большинство книг куда-то вынесли, аппараты составили зачем-то в угол. Сам князь Никита лежал на постели, которой никогда не было здесь прежде. Кушетка – «ее», Аграфенушки, кушетка – стояла, придвинутая к стене, в ногах от кровати. Но больше всего удивила Никиту Федоровича рука, лежавшая у него на груди. Она была совсем прозрачная, словно восковая, и до того худа, будто кожа обтягивала одни сухие кости. Белая простыня была совершенно одного с нею цвета. Князь Никита догадался, что эта рука, которую он не узнал, – его рука, и с трудом шевельнул ею.

Окна были чем-то завешаны. Свет шел сзади, по видимому, из одного только окна, которое оставалось открытым. Все было тихо. В комнате, казалось, никого не было.

Но только что князь шевельнул рукою – дверь скрипнула и приотворилась. Миша сначала просунул голову, а затем, тихонько войдя, вдруг быстрыми шагами подошел к кровати.

– Лаврентий, батюшка пришел в себя! – радостным

шепотом проговорил он.

Сзади от света подошел Лаврентий.

– Князинька, родной, голубчик! – заговорил он, заглядывая в лицо Никите Федоровичу, и, увидев сознательную улыбку на этом лице, просиял весь и, опустившись, припал к бледной руке. – Насилу-то... ну, слава Богу!..

Миша стоял с наворачнувшимися на глазах слезами, радостный, видимо не зная, что ему сделать.

– Батюшка, батюшка! – шептал он только все чаще и чаще и, наконец, разрыдался.

– Княгинюшке сообщите, ваше сиятельство, – сказал ему Лаврентий, – она измучилась ведь.

Миша, напрасно сиюсь сдерживать свои слезы, торопливо пошел из комнаты.

Через несколько минут пришла Аграфена Петровна. Она явилась бледная, исхудалая. Лаврентий был прав, что она измучилась. С нею вернулся и Миша.

Аграфена Петровна приблизилась к мужу быстрыми, взволнованными шагами и, видимо, привычным уже движением приложила руку к его голове, потом низко нагнулась над его лицом, посмотрела прямо ему в глаза и улыбнулась.

Князь Никита тоже улыбнулся ей.

Она была без своей обыкновенной высокой прически, в белом ночном чепчике и капоре.

– Пошли за Блуменростом, – обратилась она к Мише, – он велел дать знать, если будет перемена. Лаврентьюшка, а ты бы теперь отдохнуть пошел – теперь уже можно. Я посижу.

Миша снова пошел, но Лаврентий не двигался.

– Лаврентий, ты слышишь? – сказала Аграфена Петровна.

Старый слуга поднял голову. Князь Никита глазами показывал ему, чтобы он слушался «ее».

– Княгинюшка, я сам за лекарем сейчас побегу, – сказал Лаврентий.

– Ты поезжай лучше, я не велела раскладывать карету, – проговорила ему вслед Аграфена Петровна.

Князь Никита хотел приподняться, но из его усилия ничего не вышло.

– Шш!.. Не шевелись! – остановила его жена – Погоди, приедет доктор.

– И да... да... и давно я так? – с трудом выговорил князь Никита.

– После, после все расскажу, теперь не говори и не двигайся! – опять остановила она, поправляя ему одеяло.

Князь послушно и кротко взглянул на жену. Блуменрост не заставил долго ждать себя. Лаврентий нашел его в академии и сразу привез.

– Ну, вот мы и поправились, – заговорил он, входя

и потирая руки, – ну, теперь все пойдет хорошо. Поздравляем, поздравляем! – Он не спеша поздоровался с княгиней, оглядел комнату и, видимо, оставшись доволен порядком, подошел к больному, пощупал ему голову, сказал «хорошо!», подержал за руку повыше кисти и тоже сказал «хорошо». – Теперь нужно будет давать только подкрепительную микстуру, – обратился он к Аграфене Петровне, – я вам ее пришлю. Если он захочет есть – дайте ему молока, суп тоже можно, а больше пока ничего.

Блументрост скоро уехал, сказав, что у него в академии много дела и что вечером он заедет на всякий случай. Уходя, он дружески потрепал Мишу по плечу, как старый знакомый.

Аграфена Петровна только по уходе доктора ожилилась и пришла в себя. Она села к мужу на кровать и, глядя его руку, заговорила с ним:

– Господи, как ты напугал нас! Ведь вот уже двенадцать дней, как ты без памяти... как тебя принесли тогда...

Никита Федорович силился вспомнить, откуда это и как принесли. У него оставалось смутное впечатление чего-то страшного и ужасного.

– Нет, но кто меня удивляет, – нарочно переменяла вдруг разговор Аграфена Петровна, – так это Миша. Представь себе: он не отходил... положительно...

иногда ночью придет и сидит... сколько раз засыпал здесь. Мешает, а прогнать жаль... Ты попробуй уснуть теперь... Хочешь, я дам поесть, а потом усни...

И она послала Лаврентия за молоком и супом.

Княгиня ощущала теперь то особенное волнение, которое приходит всегда после долгого и напряженного беспокойства, когда причина этого беспокойства исчезнет. Под влиянием этого волнения ей хотелось говорить, и она говорила, заставляя в то же время молчать Никиту Федоровича. Иногда она останавливалась, боясь утомить его; но он делал усилие, как будто желая спросить, и она снова начинала о чем-нибудь, но старалась говорить как можно медленнее и тише.

Князь Никита слушал голос жены, музыку его, как будто радуясь звуку ее речи, и старался вникнуть в смысл ее слов, но это стоило ему больших усилий. Он не мог как-то удержать в памяти то, что слышал, и уловить связь слов. Ему хотелось все что-то вспомнить, совсем постороннее, и он не мог сделать этого. Несколько раз как будто мысли его уже начинали слагаться в последовательную цепь, но в тот самый момент, когда ему казалось, что вот он вспомнил уже, кто-то, словно пену, сдувал его мысли – и все оставалось по-прежнему гладко и неопределенно, и снова начиналась, завязывалась цепь, и снова обрывалась.

– А что случилось с ним? – вдруг вслух вспомнил он.

Аграфена Петровна, рассказывавшая в это время о распутившихся цветах в саду, вдруг смутилась. Она поняла, что князь Никита спрашивает о Девьере, и не знала, ответить ли ей на вопрос, или отвлечь внимание мужа.

Он смотрел на нее с серьезным лицом и совсем осмысленными глазами.

Аграфена Петровна решила, что сказать будет лучше.

– Ты про кого? Про Девьера? – спросила она. – Он, получив двадцать пять ударов, вынес их, говорят, легко и отправлен уже в ссылку в Сибирь, – добавила она, стараясь говорить как можно ровнее и спокойнее.

И вдруг вся виденная картина у рынка на площади стала во всех своих подробностях пред глазами князя Никиты. Толпа загудела кругом, в виски застучало, затрещали барабаны – и все смешалось. В воздухе явилось множество рук, видных до локтя, и все они как-то одна из-под другой замахали в глаза Никите Федоровичу и сделались сквозные, красные, точно насквозь пропитанные горячим, жгучим светом. Он заметался по постели и снова впал в беспамятство.

Аграфена Петровна с ужасом глянула на него и в отчаянии протянула руки. Князь Никита бился уже, бредил и не узнавал жены.

Вечером Блументрост застал его в худшем, чем в первые дни, положении. Такого скорого повторения припадка горячки, как он определил болезнь Волконского, он не ожидал и объявил, не скрывая, что больной уже в безнадежном состоянии.

Князь Никита перестал быть человеком. Он потерял всякое ощущение, всякую возможность сознания. Он чувствовал вокруг себя свинцовый, тяжелый туман, голова его будто раздавалась во все стороны и достигала ужасающих размеров... Необыкновенные, частые, шипящие и трещащие звуки неслись откуда-то и сталкивались и сплетались, но все так же мерно отбивали однообразный такт с одинаковыми промежутками.

«Ха-а-а... а... а-а...» – шипело у него в горле, и он не знал, что разговаривает в это время.

Так он без умолку, не переставая, говорил ровно сутки, но сам он уже давно потерял счет времени и даже забыл о его существовании.

Наконец, вдруг или мало-помалу (для Никиты Федоровича *теперь* это было все равно) опустились в его душу новый мир и покой. Слышалось тихое церковное пение, дым кадилницы стлался в воздухе, и парчовая риза священника ломалась красивыми складками. Кто-то сдержанно плакал возле.

«О чем же тут плакать, когда мне так хорошо? – по-

думал Никита Федорович. – Но что ж это все такое?... Я умер, должно быть, – решил он, – и это по мне служат... Так вот оно что, вот что значит смерть... вот она... И все видишь и чувствуешь... как хорошо!...»

Но кровать и комната остались прежними и как-то слишком уже *ничего* не изменилось.

«Соборуют меня – вот что», – опять догадался Никита Федорович и стал вслушиваться в молитвы, и сейчас же заметил, что служат молебен.

Аграфена Петровна, когда Блуменрост сказал, что надежды нет и его наука помочь бессильна, подняла образ из Троицкой церкви и решила отслужить молебен у постели больного мужа.

И князь Никита вернулся к жизни.

Когда священник, окончив молебен, тихо и торжественно подошел к постели Волконского, бережно держа обеими руками крест, и, увидев открытые глаза больного, приложил этот крест к его губам, Аграфена Петровна, как бы боясь, что это потревожит умирающего, сделала движение вперед; но князь Никита совершенно твердою рукою перекрестился и спокойно поцеловал крест.

С этой минуты началось его выздоровление.

Он с каждым днем стал чувствовать себя крепче. Не прошло недели, а Никита Федорович уже аккуратно принимал подкрепляющую микстуру Блуменро-

ста, ел суп, пил молоко и спал спокойным, восстанавливающим силы сном. Голова его совершенно прояснилась, он мог все сообразить и связно думать.

Все кругом говорили, что над ним совершилось чудо.

Князь Никита лучше других понимал, что чудесный возврат его к жизни был особенным проявлением Божественного Промысла, и больше других удивлялся Его проявлению. Никита Федорович не только не боялся смерти, не видел в ней ничего, *решительно* ничего страшного, но, напротив, ждал ее, как освобождения, которое должно наступить рано или поздно. Дух его, в бессмертии которого он был твердо уверен, рвался наружу, рвался из оков земного тела на свободу, к новой жизни. Что было хорошего здесь, на земле? Любовь его? Но он знал, что она не умрет. И вот это освобождение, эта воля так были близки от него; казалось, он мог уже получить их, – и вдруг его вернули к прежней земной жизни, где снова являлись Рабутин, зависть, сплетни и неминуемые, всасывающие в свое течение человеческую волю, обстоятельства.

Конечно, умереть было лучше. Да и что значит *умереть*? Ведь страшно только одно слово, но сама смерть страшна лишь своею таинственностью. Почему знать, может быть, на самом деле рождение гораздо страшнее смерти, а между тем как мы радуемся ему!

«А жена, а сын? – подумал вдруг князь Никита. – Разве я не нужен им?»

И себялюбивое желание смерти показалось ему недобрый и нехорошим. Какое он имел право желать себе одному освобождения, когда его семья оставалась тут?

Кроме того, не бояться смерти не значило еще заслужить ее, заслужить в том виде, в каком желал князь Никита.

Таким образом он должен был еще жить и для себя, и для своих близких. Должен был вернуться в эту земную жизнь, – пусть вместе с нею возвращалось то безвыходное положение, в которое он был поставлен в день, когда заболел. Болезнь и то время, которое прошло с ее начала, разумеется, несколько не изменили к лучшему, а, напротив, вероятно, ухудшили это положение.

Клевета по-прежнему ходила про княгиню Волконскую, и не было, казалось, способа уничтожить ее.

Напрасно выздоравливающий князь Никита переворачивал в мыслях и передумывал на все лады все тот же вопрос: как быть? Он не находил выхода.

Ни Аграфена Петровна, ни кто-нибудь из окружающих не заговаривал с Волконским ни о чем, что могло бы взволновать его. Сам он, несмотря на то, что постоянно только и думал об одном и том же, тоже на-

чинал речи с Аграфеной Петровной, может быть, даже потому, что она каждый раз, когда дело касалось хотя бы отдаленного намека, очень искусно отводила разговор в совершенно другую сторону.

Таким образом точно сама собою установилась для Никиты Федоровича привычка говорить о самых ничтожных пустяках и безмолвно думать свою тревожную думу.

А ведь на самом деле положение было безвыходно. Если даже настоять на том, чтобы Аграфена Петровна не принимала у себя Рабутина, и это не могло помочь, скажут: поссорились, разошлись, что ж такое, это еще ничего не значит.

Никита Федорович оправился уже настолько, что встал с постели. Аграфена Петровна и Миша, довольные и счастливые этим событием, пришли поздравить его, и он при них, улыбаясь и конфузясь, робко сделал первые свои шаги по комнате, нетвердо держась на ослабших ногах.

Блументрост тоже заехал поздравить его и сказал, что теперь будет навещать его только раз в неделю, потому что все идет «хорошо».

В следующий свой приезд доктор застал Волконского уже сидящим у открытого окна. Погода была действительно жаркая, но Блументрост счел своим долгом упрекнуть Никиту Федоровиче.

– Ну, как же так можно!.. Того гляди, сквозняк прохватит; тогда что будет? – начал он, здороваясь.

– Да уж пора, – ответил Волконский совсем твердым голосом.

Блуменрост оглядел его.

– Что ж, вы уже совсем поправились? – сказал он, и уже не тем тоном, каким обыкновенно говорят доктора с больными, точно будто с детьми, ласково-снисходительно, но совсем просто, как с *равным*, то есть оправившимся и вышедшим из его повиновения человеком.

– Присядьте, доктор, – пригласил его Никита Федорович.

Блуменрост был не в кафтане, но в обыкновенном сером оберроке с медными пуговицами, в синих с красными стрелками чулках и башмаках с серебряными пряжками. Видимо, он был свободен и не ехал ни в академию и никуда особенно.

– Хотите кофе? – спросил Волконский, зная пристрастие доктора к этому напитку, который, однако, далеко еще не всеми был оценен по достоинству.

Но Блуменрост отказался даже от кофе.

– Нет, нет, мне сейчас нужно ехать... у меня дело, – сказал он.

– Какое же может быть дело! Полноте, садитесь! – настаивал Никита Федорович.

– Вы смотрите на мой оберрок – это ничего не значит. У меня дело такое, что туда можно ехать и так.

– А что, навестить кого-нибудь?

– Нет, на вскрытие трупа Рабутина, – проговорил Блуменрост.

– Как Рабутина?! – крикнул Никита Федорович, и это удивленное, испуганное восклицание поразило Блуменроста.

Скоропостижная смерть молодого австрийского графа уже два дня была таким из ряда вон выходящим событием в Петербурге, что ее знал всякий, и Блуменрост никак не мог думать, что от совсем выздоровевшего Никиты Федоровича скрыли это по совершенно особым причинам, из боязни взволновать его именем Рабутина.

Волконский схватился ладонями за ручки кресла, кинулся корпусом вперед и, вскочив со своего места, испуганными глазами взглянул на Блуменроста.

– Что вы сказали, доктор? – произнес он.

– А вы не знали? – смущаясь, проговорил Блуменрост. – Ну, не раскрывайтесь, сядьте! – и он, запахивая халат Никиты Федоровича и его рубашку с широкой оборкой, почти насильно посадил его в кресло. – Я не знал, что вам не сообщили еще, – продолжал он, недоумевая, что сделать еще. – Ну, мне пора!

– Нет, доктор, постойте... погодите! Я не пущу вас,

мне нужно знать все, – произнес Никита Федорович, обдергиваясь и торопясь.

Блументрост, не подозревая, почему скрыли от Волконского смерть Рабутина, не мог сейчас ни у кого найти себе помощи, потому что Аграфена Петровна не было дома.

Старик Лаврентий стоял тут, видел, что известие доктора произвело на его «князиньку» сильное впечатление, что он вдруг заволновался весь, но тоже ничего не знал и не мог помочь.

– Зачем же вы его будете вскрывать? – спросил Волконский и нетерпеливо забарабанил по подоконнику пальцами, впившись глазами в Блументроста.

Доктор подумал с минуту.

– Скоропостижная смерть, – проговорил он наконец, видя, что отступление невозможно. – А человек важный, нужно дать знать австрийскому двору подробные причины...

– И когда же это случилось? – снова спросил Волконский.

– Третьего дня вечером... Он был у Марфы Петровны Долгоруковой... разрыв сердца, должно быть.

– У Марфы Петровны? – медленно роняя каждый слог, проговорил Волконский.

– Да, теперь это – уже не тайна. У Долгоруковой были гости... потом уехали... Никто не видел, как про-

шел Рабутин... и вдруг... Теперь только и говорят, что о ней и о графе.

Князь Никита облокотился на спинку кресла и закрыл глаза. Безвыходное положение кончилось. Неразрешимый вопрос получил решение сам собою.

– Все к лучшему! – тихо, про себя, сказал Никита Федорович и, открыв глаза, удивленно посмотрел на Блуменроста, точно не ожидал видеть его пред собою.

– Выпейте воды, – сказал между тем доктор, подавая стакан.

Волконский отстранил воду и твердым голосом сказал:

– Не надо!

Аграфена Петровна давно уже приехала домой, но не велела говорить о себе мужу. Она, вся взволнованная, ходила по своему кабинету, стараясь прийти в себя, чтобы потом подняться к князю Никите совсем спокойною и не подать ему вида своей тревоги. Она только что узнала, что в доме Рабутина, сейчас же после его смерти, был произведен обыск и захвачена вся переписка графа, между которою было много и ее писем, очень серьезных. Вместе с этою перепиской и она сама, Аграфена Петровна, попадала в руки Меншикова.

Наконец она подошла к зеркалу, огляделась, опра-

вилась еще раз и решилась идти наверх. На лестнице она встретила с Блуменростом.

– Ничего, ничего, – поспешно ответил доктор и, точно виноватый, проскользнул вниз, сказав, что торопится.

– Аграфенушка, – встретил князь Никита жену, – а ты мне не сказала, что Рабутин...

Аграфена Петровна не дала ему договорить. Она не ожидала этого, и все ее старательно подготовленное мнимое спокойствие исчезло в один миг.

– Не надо, не надо об этом! – заговорила она.

– Да отчего же не надо? – спросил Волконский.

Княгиня знала мужа. Она видела, что он заметил выступившее у нее волнение и что нужно сейчас объяснить причину его, иначе он может снова забеспокоиться, не волнуется ли она *потерю* Рабутина, как человека, который хоть сколько-нибудь был дорог ей, а настоящую причину своего волнения она боялась сказать, потому что это могло еще хуже испугать больного.

– Потому что смерть Рабутина выводит нас из затруднения и как-то неловко говорить об этом, – догадалась она солгать, и князь Никита успокоился.

VIII. Все к лучшему

Через несколько дней Никита Федорович, в первый раз после болезни одетый «по-здоровому», то есть в кафтан, чулки и башмаки, и потому особенно тщательно выбритый и причесанный, шел на половину жены, совсем «чистенький и гладенький», как говорила Аграфена Петровна.

– Ну, вот и я к тебе в гости, – сказал он, здороваясь с женою и оглядывая ее кабинет, в котором давно уже не был и который казался ему теперь лучше, чем он думал. – Ну-с, с сегодняшнего дня, – продолжал он, – я опять начну все по-прежнему. Пора! Опять возьмусь за Мишу. Он, верно, ничего не делал в это время?

– Где ж делать! – улыбнулась Аграфена Петровна. – Он почти все время был возле тебя... Я тебе рассказывала...

– Славный, славный мальчик! – подтвердил князь Никита.

– Тише! – проговорила Аграфена Петровна, понижая голос и глазами показывая на дверь своей спальни.

– А он там? – так же тихо спросил князь Никита.

– Кажется...

– Миша, ты здесь? – крикнул Никита Федорович и

наклонил голову набок.

Миша не сейчас ответил. Он слышал похвалу отца и, смутившись ею, конфузился теперь откликнуться.

– Миша! – снова повторил Волконский.

– Здесь, батюшка! – ответил, наконец, мальчик, но не пошел к отцу, чувствуя, что краснеет еще от услышанных слов его.

– Что ты там делаешь? – спросил князь Никита.

– Смотрю в окно. Мы с Лаврентием сегодня пойдем на Неву рыбу ловить. Он ушел за крючками, так я жду его.

– А-а! – произнес Никита Федорович и, оставив сына на его выжидательном посту, заговорил с Аграфеной Петровной.

Он чувствовал сегодня себя совсем бодрым, здоровым и веселым.

– Какой я сон отвратительный видела сегодня, – рассказывала она, – ужас!.. Опять, как пред твоей болезнью, все низала жемчуг и считала деньги.

– Ох, эти деньги! – воскликнул князь Никита. – Знаешь, вот нынче, говорят, дьяволы из-под земли не выходят. Да зачем и выходить им, право! Выпустят руду золотую, а мы сами докопаемся до нее, да и понаделаем ровных кружочков, и сколько из-за них зла пойдет!.. И дьяволам спокойнее, и нам не страшно. Напротив...

– Батюшка, – раздался в это время голос Миши из спальни, – посмотрите, к нам солдаты на двор идут.

Аграфена Петровна, переменившись в лице, быстро взглянула в окно и вопросительно-растерянно обернулась к мужу. В ворота их дома на самом деле входили ровным, торопливым шагом три ряда солдат с офицером.

Князь Никита и его жена сразу догадались, что это значит.

Аграфена Петровна вскочила со своего места и могла только произнести:

– Господи, что же это?

На ней лица не было.

– Пустяки! – вдруг пришло в голову князю Никите, и он поспешил успокоить жену. – Просто, верно, новые полки пришли и размещаются по квартирам: они к нам на постой идут – вот и все.

– Нет, батюшка, это – Преображенские, – снова из спальни сказал Миша, видимо, гордясь знанием военного мундира.

– Милый, что же это? – с отчаянием повторила Аграфена Петровна, схватившись за руку мужа.

– Миша, ступай к себе, – вдруг вставая и выпрямляясь, сказал Волконский и обратился к жене – Ты не была предупреждена, тебе никто не сообщил причины? у тебя есть, что спрятать? – быстро, понижая до

шепота голос, проговорил он.

– Да! – как-то неопределенно произнесла она.

– Хорошо. Прячь все, что успеешь. Я его, – князь кивнул в сторону окна, – задержу, насколько возможно. А там – не бойся: я все приму на себя. Скажу, что ты была лишь подставным лицом, а во всем был виноват я.

В это время рядом, в гостиной, уже слышались бесцеремонные, тяжелые шаги офицера, стучавшего своими ботфортами.

Князь Никита твердыми шагами направился к двери в гостиную.

Аграфена Петровна с удивлением посмотрела ему вслед. В его тоне, походке, в каждом движении явилось вдруг столько уверенности, столько хладнокровия, что она, ожидавшая испуга, может быть, даже трепета с его стороны, – почувствовала теперь, как инстинктивно передалось ей, заглушая ее испуг, это его хладнокровие, и с радостью ощущала всю силу своей любви к мужу, потому что пока там впереди что еще будет, но теперь ей не было страшно под защитой этого человека, и она кинулась к своим бумагам.

Никита Федорович, выйдя в гостиную, захлопнул за собою дверь и стал пред нею. Он спокойно глядел на подходившего в нему офицера, невольно припоминая, где он видел это откуда-то знакомое ему лицо –

загорелое, грубое, с большими жесткими усами и нависшими на глаза бровями.

– По приказу я обязан, произведя обыск, поставить караул у входов сего дома, – заговорил офицер тем самым басом, которым отдавал команду солдатам. – Прошу повиноваться.

И голос его, и плечистая, сильная фигура, и весь его грозный вид производили впечатление, внушающее невольный страх. Он, видимо, привык произносить сказанные им слова и привык также, что люди, к которым он являлся со своим поручением, немедленно робели и терялись пред ним, услышав его голос.

– Скажите, пожалуйста, – начал тихим, ровным и медленным голосом Волконский, – где я вас видел?

Офицер не ожидал такого вопроса.

– Извольте повиноваться! – еще громче произнес он. – Позвольте пройти!

– Удивительно знакомое лицо, – повторил так же тихо Никита Федорович. – Так вы говорите – обыск? – вдруг будто вспомнил он. – Что ж, обыскивайте! Вот гостиная, начинайте хоть с нее.

– А вы будете хозяином этого дома? – спросил офицер, не веря, чтобы человек, которого близко касается его появление, мог говорить с ним так.

– Да, хозяин, – ответил князь Никита.

– Ну, так на такой случай извольте повиноваться! Я

сам знаю, с чего начать. Где комната княгини Волконской?

– Княгиня одевается еще, – произнес князь Никита, по-прежнему заслоняя собою дверь.

Офицер остановился. Он чувствовал, что этот говоривший с ним человек, не оробев перед ним, не поддался ему, и он не владеет им.

– Все равно... я обязан войти... по приказу! – сказал он уже не так громко, как вначале, и пожав плечами, как бы ссылаясь на то, что должен исполнять службу.

«Вы войдете сейчас», – хотел сказать Никита Федорович и вдруг узнал офицера: это был тот самый, который вел солдат, когда везли Девьера.

Офицер видел, как побледнел Волконский и шатнулся в сторону, едва ухватившись за косяк; воспользовавшись этим, офицер взялся за ручку двери и вошел в следующую комнату.

Никита Федорович знал, что еще секунда – и у него в голове явится полное, ясное, со всеми подробностями сопоставление несчастной участи Девьера с тем, что происходит теперь, и тогда все пропало, он окончательно потеряется. Поэтому он сделал над собою нечеловеческое усилие, чтобы уничтожить в себе всякое воспоминание и всю способность мысли направить к настоящему, *так*, как оно есть, безотносительно к тому, что было и что будет.

Но и в настоящем могло уже быть все потеряно. Аграфена Петровна едва ли могла спрятать все, что было нужно, и притом, спрятать так, чтобы нельзя было найти.

Никита Федорович заглянул в кабинет жены. Офицер стоял там, как бы соображая, откуда начать обыск. Наконец он подошел к окну, отворил его и позвал двух солдат.

Аграфены Петровны не было в комнатах. Через несколько минут она пришла из входных дверей гостиной.

– Успела? – тихо, сквозь зубы спросил, на всякий случай по-немецки, не глядя на нее, князь Никита.

– Не все! – так же ответила она. – Письма брата Алексея и венские отнесла к тебе и спрятала в стол.

Офицер с помощью позванных солдат начал хозяйничать в кабинете Аграфены Петровны. Сам он принялся за бюро, а солдатам – одному велел сдирать ковер с пола, другому – разрисованное полотно со стен.

Аграфена Петровна, нервно сжав за спиною руки, ходила взад и вперед по гостиной. Волконский стоял в дверях и следил за работой обыскивающих.

Они, видимо, искали чуть ли не целого чулана или потайной двери, или по крайней мере люка, как будто спрятанные письма не могли поместиться в хитро устроенных, скрытых отделениях, так называемых

«boites aux poisons»⁴, небольшого шкафика итальянской работы, который стоял в углу комнаты.

Офицер почти не обратил внимания на этот шкафик, небрежно высыпав на пол какие-то безделушки из его ящичков.

Никита Федерович видел, как он откладывал в сторону всякую попадавшуюся ему под руку бумажку. Тут попались и первые опыты Миши в письме, и счет на количество волосяных изделий, исполненных Вартолом, и пригласительные билеты на маскарады. Следя за всем этим, князь Никита вдруг с улыбкой вспомнил, что никогда не писал жене писем, так как ни разу не расставался с нею со времени их свадьбы.

Осмотр кабинета прошел благополучно.

– Теперь извольте провести меня в вашу комнату, – обратился офицер к Волконскому.

Сердце князя Никиты сжалось.

Аграфена Петровна остановилась среди гостиной, подняв голову и держа по-прежнему за спиною руки.

Мимо нее прошли офицер, прятавший захваченные им бумаги в сумку, и Никита Федорович, который вел его к себе.

«Все кончено!» – мелькнуло у княгини.

Офицер торопливыми шагами поднялся в комнату князя Никиты, прямо подошел к его бюро и принялся

⁴ Ящик для ядов (фр.).

копаться в его бумагах. Он выбрал все письма. Тут были письма Черемзина, Петра Михайловича Бестужева, ничего, впрочем, в себе не заключавшие.

Наконец офицер подошел к столу и взялся за его ящик.

«И не могла она засунуть хоть за книги... нужно же было класть в стол!» – подумал князь Никита и закрыл глаза, чтобы не видеть того, что случится сейчас, однако не утерпел и снова открыл их.

Офицер так же спокойно и равнодушно, как брал счета и Мишины опыты пера, взял все находившиеся в столе бумаги и спрятал их в свою сумку.

«Если бы он знал, что попало ему, то не был бы так равнодушен», – опять подумал князь Никита.

Перерыв всю комнату Волконского и довольно небрежно осмотрев остальные, офицер ушел, оставив караул у выходных дверей.

Князь Никита по уходе офицера миновал ободраный кабинет жены и вошел к ней в спальню.

Аграфена Петровна была тут. Она сидела, опустив голову, и, казалось, ни о чем не думала.

– Письма взяты? – отрывисто спросила она. Никита Федорович махнул рукою.

Они оба находились еще под влиянием поразившего их неожиданного переполоха, и беспокойство, и тревога были еще на той высшей точке, когда они до

того сильны, что человек не ощущает их. Так, говорят, у физической боли бывают минуты, что она становится неощутимой.

– Хорошо, что у тебя ничего не нашли, а все у меня! – сказал Никита Федорович. – Это многому может помочь.

Аграфена Петровна не ответила.

– Я принесу тебе успокоительных капель, – проговорил князь опять и подошел к двери.

В кабинете Аграфены Петровны стоял Лаврентий.

– Тебе чего? – спросил его Волконский, видя, что старик смутился при его появлении.

– Да, вот, князинька, я видел, как княгиня, Аграфена Петровна, положила вам в стол бумаги свои, – да и догадался, что там их найти могут. Ну, я и поспешил вынуть их и к себе спрятал. А у меня не нашли бы их! – И он вынул из заднего кармана пачку писем, во всей их неприкосновенности.

Никита Федорович вспомнил, что в столе его лежали разные рецепты, и что офицер унес из этого стола эти рецепты, а не письма. И вдруг ему стало так смешно, что он не мог удержать свой нервный, бессознательный хохот; трясаясь от него всем телом, он вбежал снова к жене и, кинув на столик пред нею письма и едва проговорив: «Все целы!» – продолжал смеяться неудержимо, заразительно.

Аграфена Петровна несколько раз перевела глаза то на него, то на лежавшие на столе письма и вдруг, точно заразившись смехом мужа, начала тоже смеяться истерично, болезненно.

Но вскоре этот смех перешел в сухие, тяжелые, икающие рыдания.

Князь Никита уложил жену в постель, дал капель, воды, забывая всякое остальное беспокойство и думая об одной лишь Аграфене Петровне.

Она оправилась и успокоилась только к вечеру.

Никита Федорович сидел возле нее до тех пор, пока она заснула, вернее – забылась, и лишь тогда, по неотвязчивому настоянию Розы, пришедшей сменить его, ушел к себе.

Лаврентий ждал его здесь с какими-то кушаньями, и Волконский только теперь вспомнил, что ничего еще не ел с утра; но ему не хотелось есть, он отослал Лаврентия и остался один.

Князь Никита снова провел бессонную ночь, в течение которой или сидел у своего стола, опустив по привычке голову на руки, или ходил потихоньку в спальню жены, шагая через ободранные и валявшиеся на полу в кабинете ковер и раскрашенное полотно. Аграфена Петровна несколько раз открывала глаза, и муж давал ей капли. Среди ночи он застал у двери матери Мишу, босиком, в одной рубашке, и прогнал его спать.

Он становился также пред образом и читал молитвы за свою Аграфену Петровну.

«Господи, что они сделали с Девьером, и что они сделают с нею?! Господи, лишь бы ее не тронули!» – мысленно обращался он к Богу и снова молился.

Наконец он к утру обессилел и прилег на кушетку.

Едва князь закрыл глаза, как в его ушах раздались было снова барабанный бой и гудение толпы, но тяжелый, хотя спасительный сон, как свинцом, задавил его.

Долго ли пролежал так князь Никита – он не мог дать себе отчета. Он проснулся как будто от напекшего его голову солнца, так она была горяча у него; но солнце на самом деле не пекло. Окна были завешаны, совсем как во время его болезни. Вероятно, Лаврентий сделал это. Князь Никита встал, вспоминая, что было вчера. Голову его начинали уже жать мягкие тиски, и он ощущал в ней ту самую боль, которая повторялась у него обыкновенно прежде только весной.

«А, может быть, *все это* был только сон и ничего этого не происходило?» – подумал Никита Федорович и пошел вниз.

Но страшный хаос, царивший в кабинете Аграфены Петровны, свидетельствовал о том, что все, что вспомнил Никита Федорович, произошло наяву и не было сновидением.

Аграфена Петровна лежала в постели с закинутыми за голову руками и большими, совсем сухими глазами смотрела пред собою. Роза, свернувшись на кресле, спала, свесив голову.

– Я уже давно очнулась, – проговорила Аграфена Петровна навстречу мужу, – да жаль было будить ее, – и она показала на Розу. – Который теперь час?

Князь Никита пошел узнать. Был уже второй час дня. Волконский разбудил Розу и остался с женою.

Караульные никого не выпускали из дома. Готовить пришлось из тех запасов, которые имелись в кладовых.

Аграфена Петровна велела принести кофе и заставила мужа тоже выпить с нею.

Роза, заявившая, что уже отдохнула и не хочет спать, сама принесла на подносе кофе и две чашки.

– Там Лаврентий просит господина князя, – сказала она князю Никите по-немецки.

Волконский вышел к Лаврентию.

– Нет, ты представь себе, зачем вызывал меня Лаврентий? – стал он рассказывать, вернувшись очень скоро к жене. – Эти люди просто удивительны! – И в первый раз со вчерашнего дня улыбнулся большою, светлою улыбкою. – Знаешь, фореитор твой, мальчишка, которого Акулькой прозвали, – пришел и молит дать ему какое-нибудь поручение, клянясь, что все ис-

полнит и «жисти», как говорит, для господ не пожалеет, лишь бы приказали. «Для них, – говорит, – *теперь* время трудное!»

И князь Никита, видимо, тронутый участием Акульки, чаще заморгал глазами.

Аграфене Петровне стало немножко совестно пред Акулькой. Она никогда не любила его и часто выговаривала ему прежде, и вдруг теперь он оказался один из первых, выказавших усердие, когда понял, что господам пришлось круто.

– Нет, эти люди!.. – повторил Волконский. – Уж я не говорю про Лаврентия с его письмами, но мальчишка, форейтор... И представь себе, говорят, сегодня у нас в доме все старики всю ночь молились.

– Миша мне говорил, что Лаврентий дал обет идти пешком в Киев, если все пройдет благополучно, – сказала Аграфена Петровна и улыбнулась.

– Знаешь что? – вдруг блеснув глазами и вбирая всею грудью воздух, воскликнул Никита Федорович. – И я с ним пойду, вот что! – решил он, как будто все уже прошло и было по-прежнему радостно, и оставалось лишь собраться и пойти в Киев. – Да, Бог даст, все обойдется, – успокоительно произнес он, – ведь никаких писем...

Но Аграфена Петровна перебила его. Она слабым голосом рассказала, что боится, как бы у Рабутина не

нашлось каких-нибудь ее писем.

– Пожалуй, и впрямь, – заключила она, – нам не обойтись без любезности господина Акульки.

– Что ж, я его призову к себе, – и князь велел позвать к себе в комнату форејтора.

Акулька явился с красным от волнения лицом, приглаженный и приодетый. Он выслушал все, что говорил ему барин, приговаривая: «Слушаю, слушаю!»

Впрочем, поручение не было сложно. Нужно было выбраться из дома и сбегать к Пашкову, Черкасову или Маврину и сказать им, что у Волконских *все благополучно*, но чтобы они прислали им известие в калаче. Акулька, как форејтор, знал отлично и имена всех господ, и где кто живет.

– Если выберешься, назад и не пытайся возвращаться, – сказал ему князь Никита. – Этого не нужно.

Акулька еще раз проговорил: «Слушаю!» – и, отнеся низкий поклон, вскинул волосами, а затем молодецкато, желая всем существом своим показать, что на него можно положиться, ушел исполнять поручение.

Князь Никита думал, что он проберется как-нибудь задворками, но вскоре оказалось другое.

На дворе раздался беспокойный, громкий крик: «Держи! Держи!» Волконский подошел к окну.

Акулька выпрыгнул из окна нижнего этажа, бежал, семеня ногами и как-то особенно вывертывая босые

пятки. Солдаты кинулись было за ним, но Акулька с такой стремительностью исчез за воротами, что, видимо, догнать его не было возможности.

Караульные не придали серьезного значения бегству Акульки, вызвавшему у них только смех. Но Акулька сделал свое дело.

В тот же день вечером Волконским был прислан каляч с хитро засунутой внутрь запиской. Записка была от Пашкова и сообщала, что Маврин, Ганнибал, Черкасов и прочие друзья высланы из Петербурга в разные города, насчет же самой княгини он ничего не мог узнать, хотя писал, что в бумагах Рабутина улики против нее было найдено мало.

На другой день Яковлев, секретарь Меншикова, привез Волконским приказание немедленно выехать из столицы и отправиться в подмосковную деревню, где и жить безвыездно.

Тревога окончилась благополучно.

С особенным радостным чувством уезжал из Петербурга князь Никита, увозя с собою свою Аграфену Петровну и Мишу в деревню, где ждала их новая тихая жизнь, как мечталось Никите Федоровичу, полная любви и счастья.

– Все к лучшему, все к лучшему! – повторял он, крестясь в последний раз на видную издали высокую колокольню крепости.

Аграфена Петровна молчала, задумчиво глядя в окно кареты.

Часть третья

I. Старый знакомый

Постоянно веселый, не озабоченный своим положением и вовсе не старавшийся разрешать какие-нибудь вопросы своей жизни, а потому всегда довольный ею, Черемзин представлял собою один из тех счастливых характеров, которые живут, как птицы небесные.

Теперь ему уже минуло давно за тридцать. Он попробовал было оглянуться, посмотреть на жизнь серьезнее, но сейчас же решил, что это – пустяки, которыми не стоит заниматься, а главное – мучить себя ими, и что все обойдется и будет так, как оно должно быть.

И в самом деле все обошлось как нельзя лучше. Пришло известие, что богатый бездетный старик-дядя Черемзина скончался, и наследство его целиком должно перейти к племяннику.

Черемзин, шутя, получил в Митаве это известие, шутя, собрался в деревню и сам трунил над собою, как это он вдруг будет хозяйничать и попадет из «салона» на пашню.

Трудно было решить, случилось ли для Черемзина все в жизни так, как он хотел, или наоборот, он всегда желал именно того, как сложились для него обстоятельства, но только ему казалось, что лучшего, как вот бросив Митаву и службу, теперь уехать в деревню – ничего и быть не могло.

И он, веселый и довольный, уехал в деревню, где сейчас же с его приездом приказчик, бывший до сих пор слепым орудием прежнего барина и не смевший пикнуть при нем, сделался почти полным хозяином. Целая ватага челяди пришла к Черемзину и, слезно поминая доброту покойного его дядюшки, говорила, что жила у него на таком-то положении, – и Черемзин «положил» ей беспрекослоно все довольство, которое она требовала себе. Приказчик казался ему очень порядочным и честным человеком, челядь – добрыми людьми, которым в самом деле некуда было деваться, и к тому же все это, как уверяли его, так было при дядюшке, значит, пусть будет и впредь.

Черемзин видел, что с тем богатством, которое досталось ему, у него не только всего будет вдоволь, но даже с излишком хватит на всех.

Состояние его увеличилось, а потребности, вернее возможность куда-нибудь тратить деньги, значительно сократились. В деревне, где все было свое и готовое, деньги почти не были нужны.

Но зато здесь было и скучнее. Сначала, в первое время, и это было не так заметно. Однако вскоре однообразная жизнь стала надоедать даже Черемзину. Одиночество особенно было неприятно.

Он попробовал было отправиться к соседям. Это были давнишние деревенские жители, смотревшие на Черемзина, как на совсем нового и чуждого им человека. Привыкший к заграничной жизни, постоянно вертевшийся, хотя и при маленьком герцогском дворе, но все-таки при дворе, он совершенно отличался от них и развитием, и манерами, и наклонностями. И он, и они сейчас поняли, что вовсе не подходят друг к другу. И соседи стали дичиться его, да и он, побывав у них раза по два, отставал от их общества.

Какой-то раненый драгунский офицер, возвращавшийся на родину, заехал к Черемзину, и они два дня и две ночи подряд проиграли в кости. На третьи сутки это до того надоело Черемзину, что он, проиграв-таки порядочно офицеру, насилу мог спровадить его от себя. Офицер уехал, прокурил кнастером комнату, в которой останавливался, горячо простился с хозяином, которому уже говорил «ты», и оставил Черемзина с головною болью и самым отчаянным воспоминанием несуразно проведенного времени.

«Жениться пора, что ли? – с улыбкою подумал Черемзин и тут же разрешил свое сомнение – Ну, какая

дура за меня пойдет? А если и пойдет, то только дура».

Да и где было искать подходящую невесту? Правда, две-три «боярыни», как еще величали помещиц в деревенской глуши, мечтали о том, чтобы выдать своих дочей за богатого Черемзина, но не могли не сознаться, что это были только мечты, потому что их дочкам далеко было до «заграничного немца», как окрестили Черемзина в околотке.

– Да и что в нем хорошего? – рассуждали боярыни. – Одно слово, что богат; ну, да не с богатством жить, а с человеком. А человек-то он какой? Постов не соблюдает, хозяйства не ведет и конскую гриву на голову надевает.

Одним из недалеких соседей Черемзина был старый князь Петр Кириллович Трубецкой, бывший когда-то при дворе и в школе Великого Петра, но по подозрению в участии, впрочем, вовсе не доказанном, в деле царевича Алексея, сосланный на вечное время в дальнюю свою деревню.

Князь Петр Кириллович, приехав в деревню с единственной своею дочерью, заперся там, занялся устройством дома и парка, ни к кому не поехал и держал себя со всеми, даже с начальствующими, очень гордо. Эта гордость, ни на чем, собственно говоря, не основанная, кроме, может быть, полученного годами

и опытом презрения к людям, показала окружающим вполне законною, и все как-то не только подчинились ей, но стали даже бояться князя Петра.

В именины его почему-то считали уже долгом ездить к нему на поклон; у него явились несколько за-всегдаев из мелких, – словом, он занял место выдающегося лица, которое создалось само собою. Петр Кириллович приехал и взял на себя роль этого лица, и все точно сейчас же поверили ему, что так и быть должно, и подчинились.

Правда, Трубецкой был крут нравом и не любил спускать тому, кто, по его мнению, был виноват пред ним.

Мужчины его боялись. Хозяйство он завел образцовое, дом выстроил великолепный. Земли у него было много, и почти все окружные были должны ему. Впрочем, уже этого было достаточно, чтобы держать их в руках.

Дядя Черемзина был в числе немногих, не боявшихся Трубецкого. К нему князь Петр относился с уважением и угощал его по-приятельски. С остальными он почти не церемонился. Иногда в самый разгар вечернего пира он вдруг подходил к окну, барабанил пальцами по стеклу (в его покоях везде были вставлены стекла) и говорил со вздохом сожаления: «Ну, гости дорогие, ночь – как день, дорога – как скатерть».

Это значило, что гости надоели ему, и он их больше не задерживает. И гости, поняв намек, послушно разъезжались, а потом снова являлись по первому зову.

Приехав к себе, Черемзин наслушался рассказов про Петра Кирилловича и не счел нужным отправиться к нему. Таким образом имение Трубецкого оставалось для него как бы неисследованным островком в окружавшей его жизни, и мало-помалу его стало мучить любопытство. Что за старик, что за усадьба у него, про которую рассказывали чудеса, и что за дочь, про которую говорили, что она красавица? Однако поехать так вдруг, ни с того ни с сего, к гордому старику Черемзину не хотелось.

«Отчего же, однако, не поехать? Что, право: он гораздо старше меня, пожалуй, в отцы годится, был хорош с дядей, и если чудит со „здешними“, то можно всегда себя сдерживать так, что со мной он чудить не будет».

И Черемзин, скорый на решения, вдруг убедился, что ему не только можно поехать к Трубецкому, но это даже так и следует.

Он велел себе подать лучший наряд, привезенный из Митавы, и заложить колымагу.

«Или не ехать?» – снова мелькнуло у него, когда он посмотрел на приготовленный глазетовый блестящий кафтан, которого уже сравнительно так давно не

надевал: ему как будто стало лень сменить свое будничное, просторное одеяние на этот наряд.

Тем не менее он все-таки оделся, несмотря даже на то, что кафтан стал ему несколько узок и неловко сжимал грудь.

Он легко вскочил в колымагу и, не усевшись еще как следует, крикнул кучеру, чтобы тот трогал. Лошади дружно подхватили, и колымага закачалась на своих ремнях.

Но, несмотря на эти ремни, отвратительная дорога то и дело давала себя чувствовать. Черемзин, ездивший большею частью верхом в деревне, как-то упустил из вида, собираясь предпринять свою поездку, ту муку, которая ожидала его в колымаге. Трясло, казалось, так, что все внутри переворачивалось. Всякое удовольствие пропало, и Черемзин уже считал минуты, когда, наконец, может кончиться его пытка.

– Завтра же велю исправить у себя дорогу... о-о-ох! – охал он, хватаясь за бок.

Через час времени он въехал во владение князя Трубецкого, как свидетельствовал каменный столб с надписью при дороге, и в этом «владении» дорога стала еще хуже.

– Да что ж это за Божеское наказание! – воскликнул наконец Черемзин и приказал кучеру – Пошел шагом, шагом поезжай!

Но лошади сами уже перестали идти рысью. Дорога с каждым шагом становилась все менее проезжей. Казалось, чем ближе было к усадьбе, тем хуже.

– Ну, уж и помещик! – удивлялся Черемзин. – А еще чудеса рассказывают про него... Хорошо, нечего сказать! Вот врут-то!.. И ехать не стоило просто... Тише ты! – снова крикнул он, хватаясь за края колымаги и чуть не вылетев из нее от нового неожиданного страшного толчка.

На дороге в этом месте был отвесный уступ по крайней мере в пол-аршина вышины. Свернуть в сторону было невозможно. Частый лес, заваленный огромными стволами деревьев с поднятыми и торчавшими в разные стороны сучками и корнями, не позволял съехать с дороги.

И вдруг после этой адской тряски, после рытвин, обрывов и огромных булыжников колымага въехала на гладкое, удивительно ровное шоссе и покатилась, как по бархату. Черемзин попал точно в царствие небесное.

Впоследствии он узнал, что у Трубецкого нарочно вначале дорога была испорчена, чтобы проезжий мог лучше оценить последующую роскошь.

По сторонам прекрасной, вытянутой в струнку и точно прилизанной дороги, на которую въехал теперь Черемзин, открылась дивная панорама лугов с под-

чищенными кущами дерев. Безобразный, дикий лес остался сзади. Теперь всюду была видна заботливая рука, превратившая всю окрестность в парк. По временам между красивыми группами словно нарочно рассажены кустарники и деревья попадались и такие, которые были подстрижены в форму огромной вазы, петуха, а четыре как-то сросшиеся дерева имели даже вид слона с хоботом и беседкой наверху в виде балдахина.

Черемзин, ощущая теперь приятный отдых ровной и скорой езды, забыл уже свое мученье и лишь любовался тем, что видел по сторонам.

Но вот он въехал в узорчатые каменные с гербом ворота, обвитые, как пеленой, ползучими растениями; округленный высокий кустарник, бросая приятную тень, приблизился к дороге, от которой теперь уже шли другие дороги и аллеи.

Вскоре по обеим сторонам потянулась подстриженная и сверху, и с боков изгородь акаций, а затем она вдруг оборвалась и дала место двум фонтанам. Дорога повернула под прямым углом вправо – и глазам Черемзина открылась целая аллея из фонтанов, неумолчно и ровно подымавших тонкую струю воды, как ракета, рассыпавшуюся наверху блестящими на солнце брызгами. Аллея заканчивалась двумя стоявшими по сторонам огромными львами, метавшими во-

ду из пасти в широкие круглые бассейны.

За этими львами расстилался широкий круг, весь покрытый цветником, точно был разостлан ковер самого хитрого узора. Цветник огибала убитая и усыпанная ярко-красным песком дорога, обсаженная маленькими, округленными в шар деревцами, находившимися в одинаковом друг от друга расстоянии, и соединенными, как гирляндами, диким виноградом.

Каменный двухэтажный дом, похожий на дворец Меншикова в Петербурге, блестел своею золоченою крышей и пестрел заполонившими его балкон и окна цветами.

У подъезда Черемзина встретили с раболепным почитанием два лакея в красных ливреях (по покрою ничуть не хуже его, Черемзина, кафтана) и высадили его под руки из колымаги.

Черемзина ввели в огромные сени, где тоже бил фонтан и откуда двумя всходами шла наверх лестница, уставленная цветами. Между этими всходами была арка, сквозь которую виднелась длинная перспектива прямой, казавшейся бесконечною, аллеи, тепло освещенной солнцем, в особенности в сравнении с несколько матовыми полутонами каменных прохладных и пахнувших цветами сеней.

Здесь Черемзину пришлось ждать довольно долго. Наконец на лестнице показался благообразный ла-

кей, очевидно самый старший, и, отвесив низкий поклон, не без достоинства, сказал:

– Пожалуйте-с!

Черемзин поднялся во второй этаж. Здесь прямо с лестницей большою аркою соединялся зал с широкими окнами и таким же широким выходом на террасу, откуда несся нежный запах цветов, почти сплошь усыпавших каменные сходы.

Навстречу Черемзину шел высокий, сухой старик в ботфортах и военном, но несколько измененном против формы мундире самого простого сукна. Вообще вся одежда старика совершенно не соответствовала окружающей роскоши.

– Пора, пора, давно ждал, – заговорил он отчетливо и ясно и, подойдя к Черемзину, протянул ему руку, а затем подставил щеку, плохо выбритую. – Давно, говорю, ждал... С дядей были приятелями... мог раньше приехать...

Черемзин стоял молча.

Трубецкой оглядел его с ног до головы.

– Ну, ничего, – сказал он наконец. – Лучше поздно, чем никогда... старого не помяну теперь... Ступай за мной, ты мне понравился.

И, будто несказанно осчастливив этим Черемзина, он повел его к себе по анфиладе разукрашенных и расписанных комнат.

Так прошли они кругом всего дома, хотя «кабинет» Трубецкого был рядом с залом и в него можно было попасть гораздо короче. Но Трубецкой провел Черемзина именно через все комнаты.

– А вот мой кабинет, – пояснил он, не оборачиваясь, когда они дошли до него.

Кабинет Трубецкого был, как и его одежда, прямою противоположностью всему, что было кругом. Эта огромная квадратная комната с простыми выбеленными стенами и некрашеною деревянною мебелью, была заставлена столами и шкафами с книгами. На столах лежали грудюю свитки каких-то планов и географических карт. Тут же виднелась астролябия, большой глобус, подозрная труба. В одном из углов валялись стружки и столярный инструмент.

Трубецкой подвел гостя к одному из столов, сдвинул большую открытую картонку с номерами «Петербургских Ведомостей» и показал рукою на стул с высокою решетчатою спинкой.

Оказалось, что Петр Кириллович, несмотря на давнее свое пребывание в деревне, нисколько не отстал от того, что делалось теперь в Петербурге и при дворе, и из его расспросов и разговора Черемзин понял, что старик вовсе не примирился со своим деревенским уединением и твердо надеется, что время его еще не прошло.

Черемзин знал, что многие, в том числе, видимо, и Трубецкой, пострадавший за царевича Алексея, могут ожидать помощи от матери царевича и, следовательно, бабки царствовавшего юного императора, Евдокии Федоровны, рожденной Лопухиной, в инокинях Елены, сосланной Петром в Шлиссельбург, но теперь освобожденной внуком. Она жила уже в Москве, в Новодевичьем монастыре, и величалась «Государыней царицей».

По крови Евдокия Федоровна являлась единственным близким, кроме его сестры Натальи, лицом к императору. Хотя последний до сих пор никогда не знал своей бабки, но казалось очень вероятным, что родственное чувство заговорит в нем при первом же свидании. Это свидание близилось – император должен был приехать в Москву на коронацию.

– Посмотрите, новые времена настанут, и все пойдет иначе, – сказал Петр Кириллович Черемзину, невольно удивлявшемуся, каким образом этот старик до сих пор сохранил и ум, и энергию, и главное – желание все еще идти вперед.

Они оставались в кабинете часа два – до тех пор, пока лакей, встретивший Черемзина на лестнице, не пришел и не доложил, что кушать подано.

– Пойдем обедать! – пригласил Трубецкой.

И опять они, по всей анфиладе комнат, пришли в

зал и спустились затем в нижний этаж, где помещалась столовая. Стол был покрыт камчатною скатертью и уставлен золотою и серебряною посудой.

Черемзин, войдя в столовую, невольно остановился. Пред ним у стола стояла молодая хозяйка, дочь Петра Кирилловича. Высокая, стройная, белая и румяная, с правильными, ровными, темными бровями и длинною косою с яркою лентою, она стояла, опутив длинные ресницы и сложив, красивые, открытые руки. На ней были парчовый русский сарафан с кисейными рукавами и высокая кика.

Она поклонилась Черемзину русским поклоном, и он так же ответил ей.

– Ну, садись, садись! – пригласил его старый князь, как будто не замечая, какое впечатление производит его дочь.

Начали подавать кушанья. Петр Кириллович ел очень много, в особенности зеленой каши, которую отдельно подали ему и которую он, видимо, очень любил.

Долгое время за столом царило молчание, которого как бы умышленно не прерывал Петр Кириллович. Черемзин считал невежливым заговорить раньше его.

Лакеи, бесшумно ступя своими мягкими башмаками, служили, точно безмолвные куклы.

За обедом, кроме Черемзина, других гостей не бы-

ло. Петр Кириллович вчера еще вечером подходил к окну со своей обычной фразой, и гости вчера же уехали. Он был не в духе, но приезд Черемзина рассеял его.

– Ты не смотри, – вдруг заговорил он, отодвигая тарелку с кашею, – что она, – он кивнул на дочь, – в сарафане у меня... Ты скажи, разве наш наряд женский хуже этих роб разных неуклюжих и стеснительных? Лучше ведь и красивей... а?... Лучше, спрашиваю я тебя? – повторил он.

– Лучше, – едва слышно повторил Черемзин, чувствуя, что краснеет.

– Ну, вот то-то!.. В сарафане она у меня – красавица, а попробуй ее нарядить в заграничную робу?... А ты говоришь, – вдруг обернулся Петр Кириллович к Черемзину, который ничего еще не говорил, – зачем я не ношу русского кафтана иль опашень, как он там называется...

– Опашень... – начал было Черемзин.

Но Трубецкой перебил его:

– Так потому, что так, – он схватился за борт мундира рукою, – удобнее, понимаешь – удобнее... и тоже лучше... Матрешку сюда и Иваныча! – приказал он.

Черемзин не мог не заметить, что Петр Кириллович был здесь, в столовой, на людях, так сказать, совсем другим человеком.

В дверях появилась дура с размалеванными щеками, в шелковой робе и буклями из пакли и огромным веером в руках, и высочайшего роста человек в русском одеянии, с длинною бородой и в высокой шапке, отчего рост его казался еще больше.

– Вельможному боярину и всем гостям честным челом бьет Иваныч-свет! – тонким тенором проговорил великан, снимая шапку и низко кланяясь.

– Бонжур, гуты-морды! – пропищала дура, кривляясь и приседая.

– Хороши? – спросил Трубецкой у Черемзина.

Тот, морщась, смотрел на этих людей и удивлялся, как мог этот старый князь, отец сидевшей пред ним красавицы, только что у себя в кабинете выказывавший столько ума в своем разговоре, полном интереса, держать у себя шутов и тешиться ими.

– Не нравится, – с усмешкою протянул Петр Кириллович, щурясь своими острыми глазами. – Ну, пошли вон! – обернулся он к Матрешке и Иванычу, и те сейчас же исчезли за дверями. – А многие любят это! – серьезно, как бы про себя, проговорил Трубецкой и замолчал.

В столовой снова все стихло.

После обеда молодая княжна ушла сейчас же к себе, а старый князь повел Черемзина показывать парк и сад.

Черемзин сразу понял, что старику было приятно, когда хвалили его устройство, и он хвалил вполне искренне.

– Ну, а как ты думаешь, – спросил Трубецкой, показывая на тщательно расчищенное пространство, расстилавшееся по сторонам дороги, – это я только для красоты, только для глаз сгоняю сюда мужиков на работу?

Черемзин не знал, что ответить.

– Эх, ты!.. Все под посев пойдет. Это вот Иваныч со здешними помещиками думают, что это – одна блажь. Ну, а ты не думай так! Посмотришь, поучишься и сам у себя чистить станешь...

Наконец Черемзин, боясь надоесть своим первым посещением, собрался домой.

– Ну, *до свиданья*, слышишь, – говорю «до свиданья», – сказал ему старый князь на прощанье. – Ты мне понравился. Я сказал...

Никогда еще не чувствовал Черемзин себя таким одиноким, как после своей поездки в Княжеское, как называлось имение Трубецкого. Дядина усадьба, в которой он был теперь хозяином, показалась ему и скучной, и бедной. Прежний его покой и всегдашнее хорошее расположение духа как рукой сняло.

«И хороша же она!» – вспоминал он про Трубецкую, и его неудержимо, страстно стало тянуть туда,

назад, чтобы хоть опять мельком за обедом поглядеть на нее.

Он выждал несколько дней и снова отправился в Княжеское.

В это второе посещение он застал там много народа. Однако Петр Кириллович, видимо, отличал его от всех гостей, был с ним особенно любезен и поил его своим, выписанным исключительно для себя, вином и кормил зеленой кашей.

Черемзину не понравилось, как держали себя гости Трубецкого по отношению к хозяину. Своим обращением с князем они гораздо больше подходили к Матрешке и Иванычу, чем к Черемзину, который был с князем прост и искренен, и Трубецкой относился к нему иначе, чем к остальным.

Но эти гости, сначала сердившие и раздражавшие Черемзина, вскоре оказались очень полезными. Старый князь, занявшись ими, оставил Черемзина с дочерью.

После этой, поездки Черемзина в Княжеское сделались все более и более частыми. Он ездил туда, не обращая уже внимания на испорченную дорогу и на то, насколько приличны его частые посещения.

Княжне Ирине Петровне Трубецкой шел уже двадцать девятый год, но ее красота от этого не была меньше и, казалось, не зависела от протекших лет.

Еще в Петербурге, когда она была восемнадцатилетнею девушкой, к ней уже сваталось много женихов, но отец одинаково всем отказывал. Здесь, в деревне, хотя, собственно, никто не смел дерзнуть иметь какие-нибудь виды на дочь Петра Кирилловича Трубецкого, но все-таки нашлись смельчаки, получавшие от старого князя такой ответ, что сейчас же стали не рады за свою смелость. На одного из таких женихов Трубецкой прямо велел спустить цепных собак.

Петр Кириллович не мог не видеть, что именно составляет главную приманку для Черемзина в Княжеском, и как бы нарочно оставлял его с дочерью, точно желая сделать какое-то наблюдение и заключить его своим выводом. А Черемзин между тем стал уже ездить к ним по крайней мере через день.

II. Неудача

Месяца через два с половиною после появления Черемзина в Княжеском старый князь призвал дочь к себе в кабинет.

Ирина Петровна чрезвычайно не любила, когда ее звали в эту комнату, и боялась там отца еще больше, чем обыкновенно. Петр Кириллович встречал ее крайне недружелюбно у себя в кабинете, где всегда происходили у него с нею «объяснения». Она вошла и стала у окна, в ожидании когда заговорит отец.

Он ходил по комнате, как будто не замечая дочери, мурлыкал вполголоса какую-то солдатскую песню и, проходя, смахивал со столов и вещей, хотя на них не было ни пылинки. Ирина Петровна терпеливо ждала.

– Ты что ж это, *перемолчать* меня хочешь, а? – заговорил наконец Петр Кириллович.

– Я жду, пока вам угодно будет, батюшка, заговорить со мною, – ответила она, покачав головою.

– А-а, ну жди! – спокойно проговорил Трубецкой и снова заходил. Плечо его дергалось все сильнее и сильнее. – Как ты думаешь, сколько тебе лет, а? – спросил он опять, впрочем, довольно мягко.

– Двадцать девять, – тихо ответила княжна, испуганно, робко, исподлобья взглядывая на отца.

– Да, двадцать девять, – повторил он. – Что ж ты думаешь, отчего до сих пор я не выдал тебя замуж, а?... отчего оставил вековой?

Ирина Петровна тяжело, глубоко вздохнула. Она знала, что отец будет мучить ее именно этим разговором.

– Ты не вздыхай... это – пустяки. По-вашему, это – моя блажь... не так ли? А я говорю, что это – ваша блажь... Были у вас женихи, были, и не отдал я тебя, потому что ни один не стоит тебя. Вот и все! Теперь, – продолжал князь, слегка запинаясь, – новый жених у вас есть: Черемзин, помещик, не сегодня-завтра делает вам пропозицию.

Он широко улыбнулся и отвесил низкий поклон дочери.

При имени Черемзина княжна Ирина вся вспыхнула.

– Разве это может быть? – произнесла она, делая невероятное усилие, чтобы сдержать свои слезы.

Ей хотелось плакать, но она знала, что отец терпеть не мог слез и приходил при виде их просто в бешенство.

– Не «может» быть, а будет, и будет на днях, – поправил князь. – Я это говорю. Ты увидишь... Так я желал бы спросить вас, как вы к этому отнесетесь.

– Как будет вам угодно, – ответила княжна Ирина.

– Конечно, все будет *так*, как мне угодно, – крикнул Петр Кириллович. Плечо его в это время так и дергалось. – Но я спрашиваю вас, ваше мнение!.. Вы бы согласились пойти за него замуж? Он – человек богатый, образованный, рассудительный, прекрасный человек и годами не мальчишка.

С каждым словом отца лицо Ирины Петровны разгоралось все сильнее и сильнее. Ей страстно хотелось сказать отцу, что все, что он говорит, правда, и что она согласна.

– Так ты согласна? – крикнул Петр Кириллович.

Она не двинулась, бровью не повела, но все ее существо самым ее молчанием и смущением говорило, что она была бы рада этому.

– Все это я знал. Все это так, – заговорил Трубецкой, заходя снова по комнате, как будто очень довольный, что его ожидания оправдались и что дочь не ответила отказом.

– Да он не сделает, – вдруг, подняв голову, сказала княжна.

Петр Кириллович остановился пред нею.

– Как не сделает, когда я говорю, что он сделает на днях пропозицию тебе? Довольна! Знаю. Ну, а потом что будет? История известная – надоедите друг другу и в этом разве найдете счастье... а?

Он ходил по комнате все быстрее и быстрее, дер-

гал плечом, и голос его становился тверже.

– Я вот что вам скажу, – говорил он. – Пусть черемзинский помещик и богат, и хорош, – он мне сам нравится больше всех ваших женихов, – но только я тебя и за него не отдам... Не отдам! – крикнул он так, будто у него отнимали что-нибудь. – Вот и все. Знаю, что вы думаете теперь обо мне. Знаю... Вы думаете: я – варвар, вот держу вас тут, и думаете, когда я развяжу вас.

– Что вы, батюшка! – начала было княжна Ирина, и слёзы-таки показались у ней.

– А умру я, тоже не смейте выходить замуж! – продолжал отец. – Вековушей лучше, вековушей лучше!.. Слышите!.. Ну, а теперь ступай! – показал он на дверь рукою. – Ступа-ай! – снова повторил он, видя, что княжна хочет возразить что-то.

И она вышла из кабинета.

В тот же день князь Петр Кириллович встретил Черемзина как ни в чем не бывало, очень ласково и любезно, и он по-прежнему стал приезжать через день.

Конечно, Ирина Петровна ни слова не сказала ему о своем объяснении с отцом, но старый князь не ошибся. Вскоре доложили ему, что Черемзин просит принять его, желая поговорить об очень важном деле.

Петр Кириллович был в это время на пчельнике.

– Что ж, если дело важное, приведите его сюда, пусть придет! – сказал он.

Черемзин прошел через сад, как-то смущенно и робко оправляясь, и, подойдя ко входу на пчельник, надел поданную ему, по приказанию Трубецкого, сетку и рукавицы.

Это была особенная любезность со стороны князя Петра Кирилловича. Обыкновенно он призывал на пчельник того, кем был недоволен, и заставлял его без сетки разговаривать. В это время пчелы облепляли несчастного, который, обезображенный их жадами, как сумасшедший, вылетал с пчельника. Почти никто не мог вынести эту пытку, и крестьяне больше всего боялись этого наказания.

Когда Черемзин вошел на пчельник, Трубецкой, присев к улью, копался там, видимо, занятый всецело своею работой.

– Ты, говорят, по делу ко мне? – спросил он, не оборачиваясь. – И важному... а? Ну, говори!

Он усмехнулся.

«Никому в жизни, наверно, не приходилось объясняться в таком положении», – подумал Черемзин, глядя сквозь надетую на лицо душную сетку на непривычную ему обстановку пчельника, на летавших кругом, по прямой линии, как пули, к ульям рабочих пчел и на широкую спину Петра Кирилловича, возившегося пред ним в улье. Черемзин не знал, говорить ли ему теперь, или отложить объяснение до другого, более

удобного, часа.

– Я жду... слушаю, – сказал опять Трубецкой.

– Я хотел сказать вам, князь Петр Кириллович, – начал, путаясь, Черемзин. – В продолжение нашего с вами знакомства, вы, вероятно, уже могли узнать меня и разглядеть. Впрочем, я не сейчас прошу ответа...

Трубецкой, присев и не оборачиваясь, замахал назад Черемзину рукою, чтобы тот замолчал, потому что его разговор, видимо, мешал улью. Черемзин замолчал. Наконец Петр Кириллович встал и повел его с пчельника.

– Ты говоришь, что желаешь жениться на моей дочери? – сказал он, когда они вышли оттуда. – Так я понял твои слова?

Черемзин почувствовал, что с его плеч спала некоторая тяжесть. Трубецкой освобождал его от длинной и неловкой вступительной речи, которую он приготовил, и прямо приступил к делу.

– Да, – произнес он, повеселев, – если вы будете согласны и княжна Ирина Петровна...

– Я тебе вот что скажу, – начал Трубецкой, замедля шаг, – я тебя узнал, ты мне понравился... правда. И именно потому, что ты мне нравишься, я говорю тебе: не женись, никогда не женись... Первый год – дай Бог еще, чтобы это год был! – у вас все пойдет отлично, ну, а там придется расплачиваться за это счастье,

которое промелькнет очень скоро. Я вот что скажу тебе, – повысил уже голос Петр Кириллович – Моя жена, покойная княгиня, была лучшая в мире женщина, лучшая в мире! – ты понимаешь это? Ирина не может и сравниться с нею... да что Ирина – никто не может сравниться!.. Ну и, я тебе говорю после этого: не женись, не женись! – крикнул Трубецкой, и голос его оборвался. – Любишь ты ее, хочешь ее счастья – не женись. Пусть в девках остается. Лучше это. А сам уезжай. У тебя эта блажь пройдет, и останется навек самое лучшее воспоминание о ней... верь мне... верь...

– Но князь, – заговорил в свою очередь Черемзин, – я уже в таких летах, что могу рассудить здраво, и это с моей стороны вовсе не увлечение. Я много думал пред тем, как прийти к вам.

– Ты много думал! – перебил его Трубецкой. – Много думал!.. А я больше тебя, может быть, думал об этом. – Он вдруг остановился и, дергая плечом и неестественно моргая одним глазом, продолжал быстро, раздраженно – Словом, не бывать этому... Что ж ты хочешь ни с того, ни с сего ворваться ко мне, а? отнять у меня дочь, а? оставить меня одного, а? сделать и ее, и себя несчастными. И меня, и меня, да?... Да вот что: принесешь ты мне в этой сетке воды ковш? – снова крикнул он, сжимая в своей руке сетку, которая была на пчельнике, и трясая ею. – Прине-

сешь? возможно это? Ну, так же невозможно, чтобы я отдал тебе Ирину... Доволен теперь? что? доволен? Так идите же, милостивый государь мой, идите!..

Черемзин развел руками и грустно опустил голову. Ему действительно оставалось только уйти. Он медленно пошел вперед по аллее, оставляя этого взбалмошного, строгого чудака, как он думал теперь про Трубецкого.

Князь Петр Кириллович сделал несколько шагов к скамейке, находившейся тут же, у края дороги, опустился на нее и закрыл лицо рукою.

Что он сделал сейчас и имел ли право сделать это?

Он вспомнил «свое время», свою жизнь, молодую, полную сил, и ему стало жаль этого удалявшегося теперь, почти выгнанного человека, к которому он чувствовал невольную симпатию с первого же взгляда на него. Но слово уже вырвалось, было сказано, и для Петра Кирилловича его нельзя было уже вернуть. Он точно слышал еще звук своего голоса, кричавшего о том, что нельзя принести воду в сетке.

Он отнял руку от лица и, проведя ею по голове, как бы желая отряхнуть свои мысли, хотел встать, но, взглянув пред собою, увидел Черемзина, приближающегося по аллее. Тот шел, сконфуженно улыбаясь, и в руках нес что-то.

«Что это?» – подумал Петр Кириллович.

Черемзин подошел и подал ему, все так же улыбаясь, сетку с куском льда.

– Что это? – произнес вслух Трубецкой.

– Вы сказали, – что «то» так же невозможно, как принести вам воды в этой сетке. Ну, вот я вам принес ее, только мерзлую, потому что взял поближе с ледника; до колодца дальше было идти.

Петр Кириллович остановился, как бы первый раз в жизни не зная, что ответить.

– Иль ты меня перехитрил? – сказал он наконец, вырвав из рук Черемзина сетку со льдом, и отбросив ее далеко в сторону. – Садись здесь!

Черемзин сел.

– Остроумно... остроумно! – бормотал старый князь, уже не обращая на него внимания. – Перехитрил... меня перехитрил...

Он усмехался и фыркал носом.

Выход ему был дан Черемзиным. Оставалось, пожалуй, теперь только дать свое согласие, и был один миг, что Петр Кириллович хотел встать и обнять Черемзина, как будущего мужа своей дочери. Но сердце его снова сжалось. Как! Это значило расстаться с нею, расстаться навсегда, отдав ее этому совсем чужому человеку, а самому быть одному и дожить свой век, как никому не нужная рухлядь, как исписанный, никуда не годный лист бумаги, потерявший давно весь

свой интерес! Это было ужасно.

«Нет, нет, не нужно... Они будут несчастны», – решил опять Петр Кириллович и, обратившись к Черемзину, резко спросил его.

– Сколько тебе лет?

Черемзин ответил не сразу.

– Когда ты родился? – переспросил его Трубецкой.

– Я родился в октябре... в год, когда был второй поход Голицына на Крым. Мой отец умер в этом походе.

Петр Кириллович поморщился.

– Это значит, в тысяча шестьсот восемьдесят девятой году, так по-нашему? – сказал он и концом своей большой палки с серебряным чеканным набалдашником написал на песке дорожки «1689». – А теперь у нас какой год? – продолжал он спрашивать.

– Тысяча семьсот двадцать седьмой, – ответил Черемзин.

Трубецкой надписал над первою цифрой «1727» и сделал вычитание.

– Видишь, – сказал он, – тридцать восемь... Тебе тридцать восемь лет... А дочь моя родилась в июле тысяча шестьсот девяносто восьмого года – значит, ей теперь двадцать девять. Ты старше ее на девять лет – ну, а я всегда говорил, – заключил с удовольствием Петр Кириллович, – что муж моей дочери должен быть старше ее на десять лет, на десять лет, понима-

ешь?... а ты годами не вышел... Сделайся старше на один год, сделайся... Тогда увидим. – Он встал и отвесил Черемзину поклон. – Ну, так вот! Ты мне нравишься, это – не отказ. Обижаться тебе тут нечего. Сатисфакция полная⁵. А только поди сделайся на год старше... попробуй... попробуй...

Черемзин отлично сознавал, что можно было принести льду в сетке, но сделать то, что требовал теперь Трубецкой, было невысказано. Он вскочил, ничего не сказав, прошел по аллее, слыша за собою старческий, донельзя противный ему теперь смех Петра Кирилловича, и, взбешенный, уехал, как ему казалось, навсегда из Княжеского.

Вернувшись домой, Черемзин увидел, что для него все теперь кончено. Упрямый старик ни за что не отступит от своего и, придравшись, как это было видно, к первому пришедшему ему в голову обстоятельству, не согласится изменить свое решение, потому что не хочет отпускать от себя дочь. Остаться теперь здесь, у себя в именье, так близко от Трубецких, к которым теперь его тянуло больше прежнего и к которым он не мог уже показаться, было и мучительно, и тоскливо.

Несколько дней Черемзин ходил у себя по комнатам, затем занялся усиленно верховой ездой, так что

⁵ Удовлетворение полное.

даже загнал лошадь, наконец, велел укладываться. Он собрался опять в Митаву или в Петербург на службу, куда-нибудь. В деревне оставаться он не мог больше и уехал, решив по дороге завернуть к Волконским, которые – он знал – были у себя в деревне, недалеко от Москвы.

Старый князь Петр Кириллович, узнав об отъезде Черемзина, сделался на неделю не в духе, не принимал гостей и не допускал к себе дур и шутих. Но с дочерью он был особенно ласков и внимателен и хвалил ее за то, что *она не променяла* отца на «черемзинского помещика», как будто во всем этом была ее воля.

Бедная Ирина Петровна старалась сдержаться при отце, но, проводя бессонные ночи, часто и много плакала, горько жалуясь на то, что ей выпала такая судьба.

У Волконских Черемзина встретили как старого приятеля и очень обрадовались ему. Он приехал к ним совершенно неожиданно и своим появлением внес невольные воспоминания Митавы, минувшего времени и лучших беззаботных лет.

В деревне у себя Волконские устроились пока в тесных, низеньких покоях хором старинной постройки. Князь Никита по приезде первым делом по настоянию жены стал рубить для нее новый дом с просторными горницами. Оглядевшись, он исполнил свой обет – хо-

дил с Лаврентием пешком в Киев.

Аграфене Петровне все не нравилось в деревне: жара, мухи, низкие потолки, маленькие окна и в особенности грубость мужиков. Все это ежедневно, ежеминутно раздражало ее. Она почти целый день была не в духе, и когда князь Никита, вернувшись с поля или с реки, подходил к ней и нагибался и взглядом требовал от нее улыбки, она не улыбалась ему, и Волконский, тяжело вздохнув, уходил от жены. Разница в склонностях и стремлениях в деревне стала сильнее заметна. В Митаве, в Петербурге Никите Федоровичу легко было жить так, как ему хотелось, то есть подальше от всех, но Аграфене Петровне вовсе не было возможно жить в деревне так, как хотелось ей, и Волконский понял, что тот покой, который думал он найти в деревне, тот внутренний душевный покой, к которому он постоянно стремился, был еще менее возможен здесь.

С приходом Черемзина не только, сам Никита Федорович и Аграфена Петровна, но и Миша и Лаврентий, и даже Роза повеселели. Гостю отвели лучшую комнату, за ним ухаживали, были рады ему и внимательны, и он, улыбаясь, и сам тоже повеселев, с удовольствием принимал эту радость и ласку своих друзей.

– Ну, рассказывай, как же ты, как княгиня, Миша... и

как он вырос! – воскликнул Черемзин в первый же вечер своего приезда, обращаясь к Никите Федоровичу, когда они остались одни.

– Да вот живем – *изгнанники*, – усмехнулся князь Никита.

– А ты и рад?

– Конечно, рад, с одной стороны... но боюсь, как бы хуже не было. Аграфена Петровна опять что-то затевает.

– Неужели опять? – воскликнул Черемзин.

Никита Федорович махнул рукою и рассмеялся. Ему теперь, при свидании с приятелем, которого он так давно не видел, все казалось весело и хорошо.

– Да что ж она может сделать здесь, в деревне, в изгнании, как ты говоришь? – переспросил тот.

– Как, что? – ответил князь Никита, наморщась и становясь серьезным. – На грех тут от нас недалеко именье двоюродного ее, Талызина Федора, от Москвы он в тридцати верстах. Из Москвы туда приезжают, и моя ездит... И сделать ничего не могу. Уж коли петербургского случая мало было...

Черемзин слушал друга, перебивая расспросами и вставляя замечания. Ему тоже хотелось говорить и тоже рассказать про себя.

– А что у нас в Митаве делалось без вас! – начал он, когда Волконский обо всем рассказал. – Представь

себе, когда – помнишь – Петр Михайлович ездил в Петербург, тогда вдруг выдвинулся при дворце герцогини Бирен, сын простого конюха.

– Я его мельком помню, – перебил Волконский, – как же... в Митаве... Теперь он, говорят, уже называет себя не Биреном, а Бироном, и производит свой род от французских графов.

Черемзин снова рассмеялся.

– Да и сам Петр Михайлович покровительствовал ему.

– Да ты о себе-то расскажи! – опять перебил Никита Федорович. – Ну, как жил в деревне, как там устроился?

– Да никак не устроился, – вдруг упавшим голосом ответил Черемзин. – Что поделаешь! Я навсегда уехал теперь из деревни.

– Опять на службу, опять в Митаву? – почти с ужасом спросил Волконский.

– Да, опять.

И Черемзин в свою очередь рассказал все о себе и о своей неудаче.

Никита Федорович серьезно, внимательно следил за его рассказом.

– Станный старик! – сказал он, когда Черемзин кончил. – Я тебе одно только могу сказать – будь уверен: если должно, чтобы твоя княжна Ирина стала

твоею женою, то ничто – ни отец, ни какая другая сила не остановят этого.

– Да, хорошо тебе говорить так, а я не вижу возможности... Нет, это не сбудется...

Волконский встал со своего места и заходил по комнате.

– Помнишь Митаву? – сказал он, обращаясь к Черемзину. – Помнишь, как ты тогда утешал меня и помог мне – да, помог, конечно, хотя и смеялся, и балагурил?

– Что ж, тогда мы моложе были, – вставил Черемзин, как будто оправдываясь.

– И могли ли мы думать тогда, – продолжал князь Никита, – что вот придет время, когда мы поменяемся местами и мне придется также утешать тебя?

– Жаль одно, что ты мне помочь не можешь, – грустно возразил Черемзин.

Никита Федорович несколько раз прошелся молча.

– Ну, этого ты не говори! – не вдруг продолжал он, видимо, соображая что-то. – Нет, не говори – может быть, и помогу.

Черемзин быстро поднял на него взор, как бы сомневаясь, не ослышался ли он, или в своем уме Волконский, желавший помочь его сватовству на Трубецкой, которая была теперь далеко от них, в полной власти и полном повиновении у своего строптивного и

прямого отца.

– Да, и помогу, – подтвердил князь Никита.

– Но как же, голубчик? Ведь это невозможно, – недоверчиво произнес Черемзин.

Но он стал настаивать на том, чтобы князь Никита объяснил, как это он собирается помочь ему. Он думал просто, что Волконский хочет утешить его, поддержать и поэтому говорит так себе, чтобы дать ему хоть тень надежды. Но Черемзин знал, что надежды этой не может быть.

На другой день Волконский не возобновлял этого разговора, и его гость еще больше убедился в справедливости своего предположения.

Черемзин провел у Волконских недели две и наконец собрался уезжать.

Накануне его отъезда Никита Федорович пришел к нему опять вечером и спросил:

– Так ты положительно хочешь уже уезжать?

– Да, голубчик, пора, – озабоченно ответил Черемзин.

Он опять находился в таком состоянии, что не мог долго засиживаться на одном месте, и, как ни хорошо ему было у Волконских, но все-таки ему многого не доставало. Он тосковал по княжне Ирине Петровне, и ее-то и не доставало ему, а потому он и не мог сидеть на одном месте. В переездах, в дороге ему все-таки

было легче.

– Ну, а если я тебе скажу: поезжай назад в деревню? – произнес Волконский.

Черемзин нахмурил брови и недовольно взглянул на друга.

– Полно тебе, князь Никита! – сказал он, хмурясь.

– А разве ты забыл, что я обещал помочь тебе? – перебил его Никита Федорович и, улыбаясь, весело взглянул на Черемзина.

Тот в свою очередь недоумевающе, вопросительно посмотрел на него и спросил:

– Так ты не шутишь? это серьезно?

– Нет, не шучу. Дай только мне слово, что исполнишь то, что я потребую от тебя.

– Хорошо, даю слово, – сказал Черемзин, несколько подумав.

– Ну, так вот, возьми это письмо, – и Никита Федорович достал из кармана уже готовое и запечатанное письмо, – и вези его, не читая, к себе в деревню, а когда приедешь – прочти и объяснись со стариком Трубецким.

– И ты думаешь, что из этого что-нибудь выйдет?

– Я даю тебе слово, что выйдет, если только, повторяю, суждено Ирине Петровне стать твоею женой.

Черемзин подчинился другу и, изменив свой маршрут, отправился назад, к себе в деревню.

III. Новый год

Черемзин уехал и как будто увез с собою дурную погоду, стоявшую все время его пребывания у Волконских. После дождей и мокроты вдруг завернула сухая погода бабьего лета. Солнце выглянуло на совсем синем небе и к полудню пекло, как в июле. Закаты были, конечно, свежее июльских, но тем не менее приятны и не холодны.

В один из этих, несмотря на сентябрь месяц, тихих и даже теплых вечеров Никита Федорович сидел с Лаврентием на вдавшемся в реку пригорке, за своим любимым занятием – ужением рыбы.

Медленная, прозрачная летом и теперь к осени чуть потемневшая, словно сгустившаяся, река беззвучно плыла между своих скошенных и снова уже обросших травой зеленых берегов, кое-где изредка оттененных красновато-желтою глиною обрывов.

«Все реки, – вспомнил Никита Федорович, – текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь».

В последнее время Волконский мало-помалу оставил все свои книги и остановился на одной только Библии, открыв в ней вдруг такую силу и мощь, пред которыми все остальные сочинения казались ему ни-

чтожными и жалкими. В особенности его поразили Екклезиаст. Здесь, на этих нескольких страницах, как казалось ему, сосредоточивалась вся мудрость человеческая, было все то, о чем писали и над чем думали, как над новым, люди впоследствии.

«Бывает нечто, – говорил Екклезиаст, – о чем говорят: „Смотри, вот это новое“, но *это* было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог воззовет прошедшее».

«И так все, – думал князь Никита, – все – суета сует и томление духа!»

– Господи, хорошо-то как! – вздохнул вдруг Лаврентий.

С тех пор, как барин и старый слуга сходили вместе в Киев, между ними образовались совсем новые отношения, естественные и простые. Правда, в доме, а тем более при людях Лаврентий оставался прежним Лаврентием и никогда не только не садился пред князем, но даже упорно выдерживал свойственный крепостному человеку тон; но когда они были совсем одни, окруженные лесом, привольем реки или простором поля, Лаврентий преображался и становился другим человеком с князем.

– Ты что сказал? – спросил князь Никита.

– Я говорю, хорошо-то как! – и Лаврентий показал рукою на полосу реки, луга и синюю даль. – Истинно хорошо, а ведь кажется, ничего нет, ни домов с колоннами, ни фонтанов, ни статуев, – пояснил он. – В Петербурхе-то они казались как будто и ничего, а все-таки все это ни к чему.

«Кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?» – пришло опять на ум Никите Федоровичу, и жалкие потуги людей создать что-то, что, по их мнению, было бы красивее существовавшего в природе, показались ему удивительно смешными и неуместными.

– Суета, и это – суета, – проговорил он вслух.

Лаврентий понял слова князя именно так, как они были сказаны, и тоже улыбнулся.

«Конечно, суета!» – сказала эта улыбка.

Князь Никита уже давно заметил, что не один Лаврентий умел и мог понимать его, но что тот народ, из которого вышел Лаврентий, тот народ, который говорил с какою-то презрительною грустью: «все помирать будем», и тогда, когда земное горе надвигалось на него, и тогда, когда, соблазняя его, ему предлагали земные блага и благополучия, – тот народ также мог понимать и понимал именно то, что князь Никита считал единственно важным; мало того, он сознавал, что и сам потому так легко дошел до своего «важно-

го», что принадлежал к тому народу, из которого вышел Лаврентий и который думал одинаково с ним.

Эти простые слова «помирать будем», казавшиеся столько раз Никите Федоровичу трогательными, ясно, верно были объяснены несколько веков тому назад Екклезиастом: «Все идет в одно место; все произошло из праха, и все возвратится в прах!», «Конец дела лучше начала его, и день смерти – дня рождения», «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого», «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести от труда своего».

С тех пор как князь Никита сошелся в деревне ближе с народом, он вдруг увидел, что до сих пор в душе жил с ним одинаковою жизнью, и с радостью увидел, что то, чего он достиг, как ему казалось, сам, собственною работою своего духа, подтверждалось рассуждениями Екклезиаста и жизнью народа.

В Петербурге, в разговорах, Веселовский, горячий поклонник и приверженец заграничного, часто ссылался на закоснелость мужика, на его упорное нежелание с охотою, с удовольствием наброситься на те улучшения и блага, которые переносились к нам из чужих краев, называл это ленью и бранил мужика со-

вершенно так же, как бранила Аграфена Петровна самого Никиту Федоровича, когда он не хотел заниматься тем, чего требовала она от него вначале и в чем видела свое настоящее дело.

Но Волконский не считал ленью того, что раздражало Веселовского. Мужик покорно принимал то, чему его научали, но, видимо, в глубине души своей считал это суетою.

И кто тут был больше прав?

Князь Никита с Лаврентием думали, что они, а Веселовский не сомневался, что правда была на его стороне. Но Екклесиаст говорит, что и это – суета, ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?

Рыба клевала мало: князь ли Никита был невнимателен, или действительно клев прекратился, но только они поймали немного.

Лаврентий сложил удочки, взял ведро с рыбою, и они пошли домой.

Никита Федорович казался задумчивым. Он прошел прямо к жене. Она встретила его взволнованная, радостная, встрепенувшаяся.

– Ну, что, ну, что? – заговорила она, держа в руках какое-то, очевидно, только что полученное пись-

мо. – Ну, что?... чья правда? Я говорила, я это знала... Меншиков впал в немилость. Он выслан из Петербурга: дни его могущества кончены. Да, по указу императора, Меншиков сослан в Раненбург. Вот видишь: ордена от него отобраны, обрученную невесту императора, дочь Меншикова, не будут поминать на ектениях в церкви. Говорят, у Меншикова нашли письма к прусскому двору, где он просил дать ему десять миллионов и обещал возратить вдвое, когда получит русский престол... А? Каково?! С завещанием императрицы тоже целая история: говорят – оно подложно, и всему виною Меншиков. Но этого мало: есть вероятность, что его не оставят в Раненбурге, а зашлют и подальше; словом, – заключила Аграфена Петровна, – прошла и погибла суетная слава прегордого Голиафа, которого Бог сильною десницею сокрушил. «И все этому очень рады, и в Петербурге все благополучно, и таких страхов теперь ни от кого нет, как было при князе Меншикове!» – прочла она из письма и победоносно поглядела на мужа.

Глаза ее горели, щеки покрылись румянцем, грудь высоко подымалась, она готова была и плакать, и смеяться, не зная, чем выразить свою радость, и требовала и взглядом, и тоном своего голоса, и всем существом своим сочувствия от князя Никиты этой своей радости, сочувствия и одобрения.

Но он грустно поглядел на нее и даже не улыбнулся.

– Суета, Аграфенушка, все – суета! – проговорил он и ушел к себе.

С падением Меншикова надежды Аграфены Петровны удвоились, и теперь дорога казалась ей открытою.

С первых же дней своего отъезда в деревню она снова завела деловую переписку с братьями и отцом, переписывалась с Ганнибалом, сосланным в Томск, и с Мавриным, бывшим в ссылке в Тобольске, посещала Новодевичий монастырь в Москве и ездила на свидания с нужными ей людьми к своему двоюродному брату Талызину. Ей казалось, что с каждым днем близится ее освобождение и что наверное будет выхлопотан указ, разрешающий вернуться снова в Петербург как ей, так и ее друзьям.

Между тем Алексей Бестужев, не знавший во всех подробностях того, что происходило в это время в Петербурге, писал сестре из Копенгагена:

«Конечно б, по желанию всех вас учинилось, ежели б смерть графа Рабутина в том не воспрепятствовала. Но ежели б его императорское величество да не свободил империю свою от ига варварского, то б мне трудно было толь скоро всем вам вспомочь; ныне же уповаю, что вы с друзьями нашими и без посторонней

помощи, по отлучении известного варвара, всякой сами себе вспомочь можете».

Варвар, то есть Меншиков, уже был сослан в Березов, и соображение Алексея Петровича заняло было Аграфену Петровну. Но Пашков из Петербурга советовал быть осторожней.

«Отважно ни в какое вступать не извольте, пока время покажет спокойное, – писал он. – Может, Бог хоть одного не оставит компании нашей. Сколько мерзкой клеотуре ни искать себе защищения по своим худым делам, только им себя не можно никак закрыть».

Под «мерзкою клеотурою» подразумевались Остерман и его приятель и помощник Левенвольд. Остерман, почти главный виновник ссылки Меншикова, получил большую силу и значение при молодом императоре. Весьма естественно, он не мог желать возвращения из ссылки таких, еще недавно приближенных к Петру Алексеевичу людей, как Маврин и его друзья. Но Остерман казался не опасен, или по крайней мере не так страшен, как Меншиков. Волконская видела это и потому, удвоив осторожность, стала больше прежнего «работать», как она говорила.

В конце 1728 года двор стал собираться в Москву на коронацию. Решительное время близилось.

Никита Федорович делался с каждым днем молча-

ливее и угрюмее. Он как будто покорился судьбе и махнул на все рукою, не препятствовал жене, но и не помогал ей. Ближайшим ее помощником теперь был ее двоюродный брат Талызин, живший вблизи в своей деревне Дедове, посвященный Аграфеною Петровой во все ее планы и исполнявший для «сестрицы», как он называл Волконскую, все, что угодно.

В первых числах февраля состоялся торжественный въезд императора в Москву. Петр Алексеевич виделся со своей бабкой, и при этой встрече присутствовали великие княжны Наталия Алексеевна и Елизавета Петровна.

Старуха царица Евдокия при виде внука стала плакать, обнимать его, читать ему наставления и выговаривать за его свободную жизнь и за дружбу с Долгоруковыми, из которых один, Иван, был самым близким человеком к императору и постоянным участником его веселья. Свидание вышло сухим, и присутствующие видели, что Петр Алексеевич уехал от бабки, по-видимому не скоро собираясь вернуться к ней. К себе он не позвал ее.

Для всех стало ясно, что государыня-бабка не будет иметь *никакого* влияния, и те, что рассчитывали на нее, ошиблись в своих расчетах.

Для Волконской и ее друзей это было большою неприятностью.

Но как пострадавшие от Меншикова, они все-таки надеялись, что государь, по гневу своему на светлейшего, легко может вспомнить про них. И действительно, верные люди уже сообщали, что Петр II несколько раз со времени переезда в Москву опять заговаривал о них. Наталья Алексеевна спрашивала про Аграфену Петровну. Надежда снова загоралась.

Так в постоянной тревоге прошли весь февраль и март. То счастье казалось близко, и цель чуть не была достигнута, то опять несколько недель полной неизвестности, сомнений и нерешительного положения. Остерман, видимо, внимательно следил за своим воспитанником.

Наконец к маю месяцу надежды опять поднялись. Теперь уже по всей Москве говорили, что император прямо желал вернуть прежнего своего наставника Маврина и его друзей.

IV. Чем кончится

Это было седьмое мая – день, памятный для князя Никиты на всю жизнь.

Он встал в этот день, как обыкновенно, рано и отправился на постройку, к которой только что приступил после зимнего перерыва.

Новый дом строился в порядочном от старого расстоянии, на красивом месте, на самом берегу реки, у рощи, в которой предполагалось разбить парк и сад. Этот дом, большой, одноэтажный, на каменном фундаменте, был вчерне почти готов еще в прошлом году и оставлен на зиму с заколоченными отверстиями для окон. Крыша была уже готова; оставалось вставить рамы, настлать полы и сделать тесовую обшивку.

Никита Федорович, с отвесом и мерою в руках, ходил по хрустевшим под его ногами, черным от времени, прошлогодним щепкам и стружкам и распоряжался уроками плотникам на сегодняшний день. В другом конце Лаврентий считал только что привезенные дубовые доски.

– А где ж Филипка меньшей? – спросил Волконский, оглядываясь кругом и ища глазами Филипку, которого он знал за хорошего работника.

– Филипка-то? – переспросил стоявший рядом му-

жик, дожидавшийся урока, и потупился.

– Ну да, его кликнуть надо!

– Филипка-а! – протяжно, лениво закричал кто-то, и роща отозвалась эхом на этот крик.

Князь Никита кончил уроки, но Филипка не являлся.

– Филипку звали? – спросил Лаврентий, подходя к Никите Федоровичу. – Эх, нехорошо! Ведь убег, пожалуй! Много у нас народа уходит! – продолжал он, понизив голос, когда они отошли от мужиков. – Все эти дворовые сбивают с толка. Понавезли их теперь из Питербурха.

Никита Федорович опустил на сваленное на траве бревно.

– Ну, и Бог с ними! – проговорил он. – Пусть их бегут, если у нас не нравится. Что ж, если не хорошо у меня, пусть ищут, где лучше.

– А объявку бы подать следовало, – почтительно, будто рассуждая сам с собою и не смея давать барину советы, сказал Лаврентий.

Князь Никита сделал вид, что не слышит его слов. Он рассеянно смотрел перед собою и совершенно равнодушно переводил взоры с постройки, которая, видимо, ничуть не занимала его, на реку и на мужиков, застучавших уже топорами. Наконец он взглянул и на Лаврентия.

«Удивительно, как природа человека двойствен-

на, – подумал он, – душа и тело... всюду душа и тело! Ведь вот Лаврентий многое понимает, а советует объявку подать. Удивительно... душа и тело».

– Да, так что ж ты говоришь? – спросил Волконский.

– Я говорю, что дворовые народ портят! – ответил Лаврентий, поняв, что слова его насчет объявки были совсем не к месту. – Вот онамеднись Добрянский, что из Питербурха с нами приехал, ушел совсем и Зайцева сбил с собою.

– Какой это Зайцев? – спросил князь Никита.

– Пропойца был! – коротко, как говорят про скончавшихся уже, сказал Лаврентий.

– А Добрянский?

Лаврентий, видимо, затруднился ответом и наконец коротко ответил:

– Из Питербурха.

Никита Федорович стал припоминать. Добрянский был тот самый человек, который тогда явился и приставал взять его к себе. Потом Никита Федорович видел его лицо в толпе, во время казни Девьера. Он же и принес его домой, когда ему там сделалось дурно.

Это воспоминание было болезненно неприятно. Князь Никита вздрогнул всем телом, точно вдруг пахнул на него сырой, холодный воздух. Образ Добрянского стоял пред его глазами, как живой.

– Ну, Бог с ними! – опять проговорил Никита Федо-

рович и встал.

Странное дело – ему несколько раз приходилось замечать, что как только что воспоминание воскресало у него в голове, всегда за ним следовало какое-нибудь несчастье.

«Ну, что за вздор! – попробовал он успокоить себя. – Что может случиться?»

Но Никита Федорович чувствовал, что сердце его беспокойно, неудержимо забилося, и предчувствие недоброго, никогда не обманывавшее его до сих пор, сжало ему грудь. Он как-то невольно, почти бессознательно обернулся и к ужасу своему увидел, что не обманулся и теперь.

«Так и есть!» – мелькнуло у него.

По протоптанной к постройке тропинке бежал, семеня своими босыми ногами, мальчишка Акулька с испуганно выкатившимися глазами и бледный, как полотно.

Волконский зажмурился и поднял руки к лицу. Он понял, что несчастье близко, что оно уже тут, и, несмотря на всю его неожиданность, ему уже казалось, что он давно знает о неминуемости этого несчастья и давно ждет его.

Акулька подбежал к Лаврентию и, запыхавшись, напрасно силясь передохнуть, отрывисто заговорил:
– Дяденька... там на барский двор солдаты приеха-

ли, с набольшим, и говорят – всех забирать будут... Коли что – я в лесу схоронюсь, а нужно будет – свистните!

И, едва договорив, Акулька снова пустился бегом по направлению леса.

«Солдаты!» – мог расслышать только Никита Федорович и, не помня уже ничего, кинулся домой.

От постройки до дома было довольно далеко и, когда наконец он очутился в воротах, вся кровь прихлынула к его сердцу, и он едва не упал.

У крыльца стояла телега с солдатом, помещавшимся рядом с ямщиком. Сзади было двое верховых.

Народ с ужасом, и с любопытством толпился вокруг. Бабы голосили. По ту сторону телеги, на крыльце отворилась дверь, и на пороге показалась Аграфена Петровна.

Она была в своем утреннем белом шелковом капоте, который всегда очень нравился Никите Федоровичу, и придерживала его оборку на груди левою рукой; за другую вел ее офицер, отвернувшись и не глядя. Княгиня шла покорно, тихо опустив свое неподвижное, совсем помертвелое лицо, и только ее красивые, сухие глаза бегали из стороны в сторону.

Дверь на крыльце снова отворилась: испуганная Роза выбежала с большой шалью в руках и накинула ее на Аграфену Петровну.

Все это было один миг, одна секунда. Не успел Никита Федорович броситься к жене, как ее уже посадили в телегу. Офицер тоже вскочил туда, и ямщик, повернув затоптавших с места лошадей, закричал расступившейся толпе:

– Берегись!

Волконский в исступлении ужаса, не помня себя, бросился под лошадей и, кажется, схватил одну из них за морду, но чья-то сильная рука остановила его.

В это время откуда-то сбоку, из-за дома, бежал Миша, всхлипывая, и кричал что-то.

Аграфена Петровна вдруг замахала руками, но телега, не останавливаясь, повернула в ворота.

Никита Федорович сильно отдернул державшую его руку, и точно невидимой нитью привязанный к телеге, побежал за нею. Зачем он делал это и чем и кому мог помочь этим, он не сознавал, да и время ли было сознавать что-нибудь! Он бежал, не чувствуя, как большими, размашистыми шагами двигались его ноги, как развевались по ветру его волосы, и грудь тяжело дышала; но свое хриплое дыхание он слышал, не понимая однако, что это хрипит он сам. Точно рядом бежал другой человек, который хрипел так. Должно быть, рот его был открыт, потому что туда набивалась пыль. В руках что-то мешало. Это была палка. Он бросил палку. Голове было тяжело – он скинул

шляпу. Телега то удалялась, то была ближе, но князь не мог догнать ее.

Аграфена Петровна металась там, несколько раз делая движение выскочить, но каждый раз офицер удерживал ее, и после этого лошади скакали шибче. Часто тоже сцепившиеся руки Аграфены Петровны подымались, точно она хотела сломать их. Никита Федорович видел, что она страдает, мучается, рвется больше его. Но обернулась она только раз: видимо, она долго собиралась с силами сделать это. Она чувствовала, что он еще тут, позади, бежит; но посмотреть на него, несчастного, милого, она все не могла. И вот, наконец, она как-то всем корпусом перекинулась назад, и ее лицо мелькнуло пред ним. Потом вдруг ее руки бессильно опустились и голова повисла; и в этом было что-то уже знакомое, девьеровское, жалкое, детское. Она лишилась чувств или умерла.

«Умерла!» – как молотом, ударило Никиту Федоровича.

Он вдруг приостановился и только теперь заметил, как: скоро ехала удавлявшаяся пред его глазами телега.

– Что ж я? – проговорил он и закричал почему-то: – Пустите! – и снова хотел бежать, но ноги его были уже: тяжелы, как свинцовые, и помимо его воли отшатнули его в сторону.

Под ногами его была трава, он зацепился за кочку и упал.

Холодное, сырое прикосновение земли было приятно князю. Сознание будто прояснилось, но это было лишь для того, чтобы он мог еще осязательнее почувствовать свою муку.

«Увезли, „ее“ увезли!.. Безбожники, жизнь мою увезли!.. Куда? Зачем?... Кому она мешала и кому она сделала что?» – терзался Никита Федорович.

Он лежал ничком, бился о землю головой, царапал руками землю и скрипел челюстями. Щеки его неудержимо прыгали, рот сводился в сторону, и все тело судорожно вздрагивало.

– А вот еще... а вот еще! – со злобою, сквозь скрипевшие зубы, с бешеным злорадством приговаривал князь Никита, и тело его дергалось новыми судорогами.

Слез не было у него. Рыдание, одно сухое рыдание остановилось в горле и не могло вырваться.

Так лежащим у дороги нашли его Лаврентий со слугами.

Его подняли, положили в коляску и повезли домой.

Навстречу им попался другой офицер, тоже с конвоем, разобравший переписку Аграфены Петровны и увозивший теперь ее письма. Князь Никита не узнал и не понял, что это был за человек.

Дома его отнесли прямо в его комнату, приведенную в беспорядок хозяйничавшим тут офицером.

Никита Федорович не потерял способности двигаться. Его посадили – он сел; ему дали воды – он выпил. Но только произвольно он как-то не мог или не хотел двинуть ни рукою, ни ногою. Он смотрел прямо перед собою неподвижными глазами, а когда ему нужно было поглядеть в сторону, он не переводил туда одних только глаз, но поворачивал всю голову, глаза же оставались по-прежнему неподвижны.

Лаврентий принес ему вместо его запыленного, загрязненного, истерзанного платья чистый шлафрок и туфли вместо испачканных башмаков.

«Нет, не надо, к чему *теперь* это?» – хотел сказать князь Никита, потому что *все* уже теперь кончилось для него.

Но вместо того чтобы произнести эти слова, он издал лишь неясное мычание, воображая, однако, что все-таки сказал то, что хотел, и даже махнул рукою, хотя вместо всякого другого движения только щеки у него опять запрыгали и рот скривился.

Лаврентий, видя его беспокойство, поспешно отошел прочь со шлафроком и туфлями.

Волконский не знал, сколько времени прошло с тех пор, как его посадили так; время для него остановилось. Ему казалось, что он все еще бежит за телегою и

видит блестящий на солнце шелк белой одежды Аграфены Петровны. Он раскрыл рот, чтобы ему легче было бежать.

Не отходивший от него Лаврентий подумал, что он хочет пить, и поднес ему опять воды. Впрочем, Никита Федорович действительно хотел пить и с удовольствием сделал несколько больших глотков. Это освежило его. Лаврентий догадался намочить ему голову.

Князь Никита встал, удивленно посмотрел на Лаврентия и вдруг, сделав несколько шагов, сел на пол, и ему стало легче.

Он увидел свою комнату и все предметы в ней снизу, под таким углом, под каким никогда не видал их, и эта разница производила своего рода впечатление, разбивала воспоминание. Комната казалась гораздо-гораздо выше, чем была в действительности, потолок не так давил, и воздуха словно стало больше.

Лаврентий, с испугом всплеснув руками, остановился и смотрел на своего «князиньку».

– А где Миша? – вдруг певучим голосом протянул князь Никита, и эта певучесть собственного голоса ему очень понравилась; ему захотелось еще раз услышать ее.

«Что ж, если запою, если это так надо?» – подумал он и не то запел, не то снова протянул, как-то раздельно:

– Со-о свя-тыми упоко-ой...

Лаврентий закрыл лицо руками, зарыдал и выбежал из комнаты.

За дверями, прижавшись в угол, сидела Роза.

– Роза Карловна, подите туда, – сказал ей Лаврентий, показывая головой на дверь к князю Никите, – мочи моей, нет... не могу... не могу, сердце на куски расходится...

Роза отрицательно покачала головой.

– Если нужно, я тут, – ответила она, – я все сделаю, я для того тут; а как же я пойдет туда, к господину князю?

Лаврентий махнул рукой на нее.

Миша с самого утра пропал в суматохе. Когда его хватились и стали искать, его нигде не было. Наконец его нашли у реки, где он сидел на берегу без шапки.

– Батюшка кличет вас, – сказал ему нашедший его и обрадованный этим человек.

– Ах, да! Батюшка! – вскрикнул вдруг Миша и побежал к отцу.

Никита Федорович все по-прежнему сидел на полу, скорчив ноги, обняв колена и опираясь на них подбородком, когда вошел к нему сын. Он долго молча смотрел на него, вполне понимая что это – его сын, его Миша, которого он любит, но никакого чувства к нему не находил теперь в себе.

– У вас шиворот-навыворот! – вдруг старательно произнес он, обращаясь к сыну и показывая на одну из пуговиц его камзолчика, которая действительно была перевернута.

Князь Никита отлично сознавал, что говорит почему-то сыну «вы», и что вообще его слова были странны и неуместны, и что он может удержаться, чтобы не сказать их, но как-то ему вот не хотелось удерживаться, и он сказал.

У Миши было то самое растерянное, виноватое выражение, с которым он приходил обыкновенно, когда не знал урока. После того, что случилось утром, ему уже не казалось ничего странным, и он не удивился, зачем отец так сидел пред ним на полу и зачем, обращаясь с ним на «вы», он говорил о какой-то пуговице. Он думал только о матери и о том, что теперь могло быть с нею.

– А что, маменька не вернется к нам? – спросил он. Этот вопрос не раз уже приходил Никите Федоровичу в голову в течение этого дня. Он вдруг широко открыл глаза и схватился за голову.

Миша был прав: ведь она могла вернуться. Это было не невозможно. Но вот что можно было сделать еще: поехать в Москву и там добиться ее освобождения.

В голове его появилась тень прежней ясности, и он

вдруг заторопился и задвигался.

Лаврентий не мог понять, чего он ищет. С этой минуты в голове Никиты Федоровича упорно засела одна только мысль – что Аграфенушка может вернуться. Он искал шляпу, чтобы идти навстречу жене. Он забыл, что шляпа была потеряна утром, и, не найдя ее, вышел на двор с непокрытою головою.

Он прошел к воротам довольно бодро и сел на прилаженную к ним скамеечку, с которой видна была далеко дорога.

Солнце уже низко спустилось на небе. От деревьев и строений легла длинная, косая тень. Вдали на дороге, скрывавшейся в лесу, куда, не отрываясь, смотрел Никита Федорович, синел уже полупрозрачный вечерний туман.

И вдруг в этой дымке тумана зашевелилось что-то. Никита Федорович протер глаза. Они не обманывали его – какой-то экипаж подвигался к усадьбе. Лошади уже ясно были видны.

– Видишь? – показал князь Никита Лаврентию.

– Да, – тихо произнес старик, не смея выразить свою радость, так как подумал:

«А вдруг это – княгиня?»

Волконский так и впился глазами в этот приближавшийся экипаж. Это была коляска. Вот она ближе, ближе. Ее бубенчики давно уже стали слышны, и нако-

нец князь Никита увидел растерянное, но старавшееся зачем-то улыбаться, лицо Феденьки Талызина. Он один сидел в своей коляске.

Никита Федорович вскочил и, как сумасшедший, побежал назад домой, к себе в комнату.

Талызина встретил Лаврентий.

– Ну, что у вас тут? – спросил гость с таким видом, что он уже знает, что переполох тут был, и что он сейчас «все устроит».

– Горе, батюшка-барин, большое горе, – ответил Лаврентий, помогая Талыzinу выйти из коляски. – Приехали утром сегодня... – начал он.

– Знаю, знаю, и у меня были и все бумаги выбрали.

– Какое бумаги: тут не одни бумаги, – княгинюшку взяли и так, как была, увезли.

Талызин раскрыл рот, и все его обнадеживающее выражение пропало.

– Как, княгинюшку? – переспросил он. Лаврентий подробно рассказал все случившееся утром.

Талызин слушал, опустив в немом отчаянии голову и руки.

– Ну, а князь Никита? – спросил он, когда Лаврентий кончил.

– Да что он, мой батюшка! Словно дитя малое убивается, без ума совсем. Весь день у себя на полу сидел. Потом вот на дорогу вышел, да вас увидел и сно-

ва к себе убег. С лица за день так изменился, что не узнать... И не плачет! Хотя бы слезинку уронил...

Талызин пошел к Волконскому.

Никита Федорович сидел опять у себя на полу, но при входе гостя встал. Феденька не без робкой неловкости поздоровался с ним и оглядел его не как человека, а как какое-то словно иное, невиданное существо.

Князь Никита действительно сильно изменился. Глаза его были широко открыты, лицо чуть перекосило, скулы выдались, и лоб мертвенно побледнел.

– И он так с самого утра? – спросил Талызин у Лаврентия.

– Что с самого утра? – злобно сказал Волконский, сдвигая брови.

– Нет, ничего, – испуганно ответил Феденька, как будто удивляясь, что князь Никита не мог понять его слова.

– Я вот что думаю, – вдруг быстро заговорил Никита Федорович, глотая слова и не оканчивая их – как хотите, а вы должны что-нибудь сделать нам. Так сидеть нельзя. Она может вернуться, и мы должны помочь вернуться. Вы как хотите, а я решил уже, что еду завтра в Москву.

Он говорил без придыхания и остановок, ровно, не понижая и не повышая голоса, как будто говорил все одну и ту же фразу.

Талызин помолчал.

– Слышишь? – обернулся он к Лаврентию шепотом, но не стесняясь, однако, присутствием Никиты Федоровича – Хочет в Москву ехать. Нельзя пускать: может и себе, и другим бед наделать.

С этими словами Талызин повернулся к двери.

– Я посмотрю, кто не пустит меня! – громко крикнул ему вслед Волконский, ударив по столу кулаком.

Талызин остался на ночь.

Князю Никите принесли постель в его комнату. Он велел постлать ее на полу и лег, не раздеваясь. Лаврентий остался у него в комнате, но Никита Федорович прогнал его. Лаврентий сел за дверями.

«Им кажется, что я – сумасшедший, что я сошел с ума! – подумал Волконский, оставшись один, и улыбнулся этой мысли. – Господи! Да ведь сумасшедшие ничего не понимают, а я все могу сообразить, все вижу и чувствую, и мучаюсь».

Он поднял голову и, облокотившись на руку, лежа стал смотреть пред собою.

Ему вспомнилось широкое поле с убежавшею вдаль дорогою, но не такое, как было сегодня пред его глазами, и на дороге всадники, и она, его будущая жена, в красной накидке и зеленом платье, потом охота, скачка в лесу, старый замок и черный доктор с его предсказанием. И князь Никита вспомнил тоже, что всю свою

жизнь учился побеждать в себе *человеческие* страсти и страдания, что хотел быть выше их, и вот страшный искуc был уже пред ним, и он не знал, как выдержит его. Легко ли сказать: что выносил он, и что еще ждет его!..

«А они думают, что я – сумасшедший!» – снова улыбнулся он.

Была уже середина ночи, а князь Никита все еще лежал с открытыми глазами, не смыкая их ни на минуту. – Ну, пора! – проговорил он и поднялся.

Он тихонько приотворил дверь. Она скрипнула. Никита Федорович притаил дыхание, но все было тихо. Лаврентий спал на стуле за дверью. Волконский, сам не слыша своих движений, как тень, прошел мимо него. В средней комнате лежали шляпа и трость Талызина; князь взял их, открыл окно и вылез из него. Теперь он был на свободе.

V. Разлука

Добравшись до Москвы, Никита Федорович прежде всего постарался отыскать Веселовского, но это не скоро удалось ему. Дня через три он нашел его наконец и узнал, что Веселовский «был тоже взят». Из остальных друзей жены Волконский не знал, кто был в Москве; и их нельзя было видеть.

Никита Федорович вспомнил об Апраксине, которого он знал еще, когда тот был в Ревеле генерал-губернатором.

Граф Федор Матвеевич Апраксин, сподвижник покойного императора Петра I, был членом Верховного совета, считался добродушнейшим человеком и многому мог помочь, если б захотел. Он был еще покойным императором возведен в чин генерал-адмирала, всегда был на виду и теперь занимал выдающееся положение, но при этом никогда не имел врагов и неприятелей. Его как-то все любили.

Князь Никита решился пойти к нему. Еще день прошел в розысках дома, где жил Апраксин.

Он пришел к Апраксину прямо с парадного крыльца. Сидевший в передней графа старый дворовый, вязавший чулок, встретил его вопросительно-недоумевающе.

– Доложи графу, что князь Никита Федорович Волконский желает видеть его.

Эти слова были сказаны таким голосом, и осанка князя Никиты, несмотря на его одежду, так поразила старика, что он встал и пошел докладывать.

Апраксин принял Волконского у себя в кабинете, сидя у бюро, с табакеркой и платком в руках.

– Милости прошу, будьте здоровы, – ласково встретил он князя Никиту, как неизменно встречал каждого своею добродушной улыбкой.

Никита Федорович сразу заговорил о деле. Апраксин выслушал, не перебивая, грустно-серьезно.

– Знаю, знаю, – проговорил он наконец. – Намедни в Верховном совете слушали.

– Ну, и что ж? – бледнея, спросил Волконский.

Старик Апраксин пожал плечами.

– Ничего против немцев не поделаешь. Уж больно они скоры и все поворачивают на свою сторону. Я еще тогда в Петербурге за Маврина да Ганнибала старался говорить – куда! Только хуже вышло.

Федор Матвеевич махнул рукой, в пальцах которой зажал уже щепотку табака, и потом впихнул этот табак в нос.

– Ну, а теперь? – спросил опять Волконский.

– Теперь?... что ж теперь?... Да вот самое дело у меня, – я прочту, если хотите. – Апраксин взял подши-

тые одна к другой бумаги толстою тетрадкой, отвернул несколько листьев и стал читать:-«Дворовые люди, Зайцев и Добрянский, явились в Андрею Ивановичу Остерману...»

– А! – беспомощно произнес князь Никита.

Апраксин мельком взглянул на него и продолжал, как бы желая успокоить:

«Донесли, что помещице их, княгине Волконской, велено, за продерзости ее, жить в деревне, не выезжая в Москву (слово „продерзости“ он проглотил как-то), а она постоянно пребывает в подмосковной деревне двоюродного своего Федора Талызина, откуда ездит тайно в Москву, в Тушино, для свидания с Юрием Нелединским и с другими некоторыми людьми, между прочим, виделась и с секретарем Исаком Веселовским; ведет тайную переписку со многими лицами в Москву и другие места; недавно же привез тайно из Митавы, от отца ее, Петра Бестужева, человек его письма, зашитые в подушке...»

– Ну, тут идет переписка, – сказал Апраксин, снова переворачивая сразу большую пачку разноформатной исписанной бумаги, – а вот мнение совета... – Он пробежал глазами несколько строк про себя и опять громко прочел, – «Княгиня Волконская и ее приятели делали партии и искали при дворе его императорского величества для собственной своей пользы делать

интриги и теми интригами причинить при дворе беспокойство, и дабы то свое намерение сильнее в действо произвести могли, искали себе помощи через Венский двор и так хотели вмешать постороннего государя в домовые его императорского величества дела. Сверх же того проповедовали о делах Верховного тайного совета...» – Апраксин пропустил еще несколько строк. «За такие вины, – продолжал он, – совет рассудил: княгиню Волконскую сослать до указа в дальний женский монастырь и содержать ее там неисходно под надзором игуменьи; сенатору Нелединскому в сенате у дел не быть; Егору Пашкову в военной коллегии не быть; Веселовского сослать в Гилян, Черкасова – в Астрахань к провиантным делам...»

Апраксин, видимо, разошелся, попав на разбор дела и, по привычке к докладам, не мог остановиться и покатился, желая представить дело как можно обстоятельнее. Он уже сам себя слушал:

– Вышереченное мнение, – заговорил он приятным голосом, – было отправлено к князю Алексею Григорьевичу Долгорукому при следующем письме: «Сиятельный князь! Понеже дело княгини Волконской и прочих по тому делу ко окончанию приведено, того ради ваше сиятельство просим, изволите по тому мнению его величеству доложить, и что изволит указать, о том нас уведомить». И князь Алексей при-

слал немедленный ответ таковой: «Сиятельные тайные действительные советники, мои милостивые государи, по письму ваших сиятельств и по присланном приговоре его императорскому величеству докладывал, и через сие мое объявляю: его величество по приговору ваших сиятельств быть повелел, и тако сие донести пребываю и прочее...» Так вот, – заключил Апраксин и, подняв взор на князя Никиту, ужаснулся тому, что сделал.

Волконский сидел пред ним, точно хотел вскочить и вцепиться в него. Особенно страшны казались его глаза, щеки дергались.

– Так вот, – заговорил он, – что ж, вы хотите разлучить меня с нею? Разлучить?... Да разве это в вашей власти?... Разве это в вашей власти, спрашиваю я вас? – И вдруг он захохотал, захохотал так, что Апраксину сделалось холодно. – Да, я смеюсь, – силился проговорить он сквозь смех, – я смеюсь над вами и презираю вас, как презираю ту разлуку, какую вы здесь придумали. А вы забыли дух... Дух! – вскрикнул Волконский, вскакивая с места и махая плавно, но неестественно своим словам руками. – Я захочу – и буду возле нее сейчас, духом моим буду... Он вечен... Я вечен. Разлука ваша – лишение... лишение человеческое... испытание духа. Я выдержу его. Это так ничтожно, временно. Здесь мне ничего не нужно... Сует-

та!.. Все – суета и томление духа... Я над вами смеюсь... – и он снова засмеялся.

Добродушный старик Апраксин растерянно смотрел на него, держа наотлет свою табакерку с платком. Вдруг, точно он вспомнил что-то, он встал и старческими, особенно старческими в минуту сильного волнения шагами подошел к Волконскому. Он всем телом дрожал.

– Успокойтесь, князинька, – проговорил он, – успокойтесь, голубчик; вот пройдемте сюда! – и он своей трясущейся рукой силился поднять князя Никиту.

Волконский перестал смеяться, тихо поднялся с кресел, огляделся и покорно пошел, куда его вел Апраксин. Тот довел его до двери, втокнул в маленькую соседнюю комнатку и быстро запер дверь.

С этой минуты князь Никита долго не помнил ничего.

Сначала была какая-то тишина и стемнело. Потом опять рассвело. Кажется, кто-то приходил, какие-то веревки стягивали неловко ему руки; потом стук колес, и снова тишина – долгая, долгая тишина.

После этой долгой тишины он вдруг почувствовал, что грудь его дышит, и сердце бьется в ней. Он открыл глаза и огляделся. Он лежал в полутемной комнате с каким-то окошечком наверху; под ним почему-то вместо постели была солома. Он ощупал себя руками и

разглядел их. На них, повыше кисти, были заживающие уже поперечные ссадины.

«Меня связывали, – догадался князь Никита, – но зачем?»

– Вот он тут у меня, – послышался за деревянной перегородкой голос. – Лежит вторую неделю без движения; теперь столбняк на него нашел. Я вам говорю, совсем без ума, все равно, что зверь без души.

Никита Федорович узнал говоривший голос. Это был Феденька Талызин.

– А доктору показывали? – спросил другой голос, тоже знакомый.

– Да что ж, доктору? Вы знаете, ведь там у докторов на цепь сажают и обращение уж очень крутое, – здесь, у меня, ему все-таки лучше. Вот вас дожидался, а теперь посмотрим... Вы все-таки хотите пройти к нему?

– Да, – ответил все тот же знакомый голос.

– Ох, не ходите, Михаил Петрович, неровен час! «Михаил Петрович! – подумал Волконский. – Это – *Панталон!*» – вспомнил он почему-то именно прозвище шурина.

– Да отчего вы его держите взаперти, – опять спросил Бестужев, – разве он буен?

– Нет, не буен – смирный. Но тогда, как он убежал от нас, мы, как ни искали, не могли найти его. Думали

уже, что кончил с собою, да вдруг он явился в Москве, к самому Апраксину-старика, наговорил ему всего совсем несуразного, уверял, что он – дух, а не человек, смеялся, кричал, что он вечен и всемогущ. И смех, и горе просто... Напугал так старика... Тот его насилу в комнату запер. Прислал за мною... Ну, вот я привез его к себе и боюсь, чтобы он снова не ушел да не на-творил чего.

– Ну, а «ей» не сказали, что он сошел с ума?

– Нет, она не знает, ей только сказали, что он болен. А очень ей хотелось видеть его, как уезжала.

– Пустите меня к ней!.. Не сумасшедший я вовсе! – вдруг ясно и отчетливо крикнул князь Никита.

– Слышите? Очнулся! – проговорил Талызин.

– Ну, да, пойдете к нему!

Замок щелкнул. Маленькая дверь открылась, и в ней показалась фигура Михаила Петровича. Талызин не вошел.

Бестужев поздоровался с князем Никитой, пощупал его голову, оглядел руки и спросил, давно ли Никита Федорович был на воздухе.

– Не помню, – ответил он совершенно твердо.

– А хотели бы пройтись?

Никита Федорович вместо ответа бодро встал со своей соломы.

Бестужев взял его под руку и вывел на свет.

Волконский вышел, щурясь после своей полутемной комнаты.

– А где Миша, Лаврентий? – спросил он.

– Они придут, придут, – успокоительно произнес Михаил Петрович.

Лаврентий действительно сейчас же пришел. Волконский при его помощи умылся, надел чистое белье, камзол и башмаки и вышел в сад к Михаилу Петровичу. Талызин не показывался.

Никита Федорович долго ходил по саду с Бестужевым, стараясь как можно разумнее доказать, что он не сумасшедший, и, беспрестанно повторяя это слово, говорил по чести, что все может понять и понимает.

Михаил Петрович не только не возражал, но часто одобрительно кивал головою, как будто верил в каждое слово Волконского, вполне разделял его мнение и убеждался его доводами. Наконец он будто совсем убедился и ушел в дом по аллее, с видом человека, которому предстоит еще много дела.

Никита Федорович остался ходить в саду с Лаврентием, который почему-то счел нужным поддерживать его под руку, хотя князь шел совсем бодро. Волконский, как бы не желая обидеть Лаврентия, не запрещал ему делать это, если ему так казалось лучше, и продолжал ходить молча.

Наконец в аллее показался Талызин, неуверенно подхаживавший к князю Никите. Волконский остановился навстречу ему. Феденька подошел на приличное все-таки расстояние и участливо, стараясь говорить как можно спокойнее, спросил:

– Ну, что, как вы? Не хотите ли отдохнуть? Вам уже пора спать, я думаю.

Это значило другими словами – ступайте под замок.

Волконский ничего не отвечал. Прошло несколько времени неловкого, тяжелого молчания.

Наконец выступил вперед Лаврентий.

– Батюшка-барин, – заговорил он, повалясь Талызину в ноги, – отпустите нас к себе! Мы никому зла не сделаем. Отпустите, что вам теперь... мы уедем, ей-Богу, сейчас уедем... Чего вам бояться отпустить нас...

И Лаврентий стал просить и доказывать, что лучше всего для его князиньки уехать к себе, и что он будет жить там, голубчик, никого не трогая.

– Конечно, пустите меня домой, – проговорил князь Никита так просто и здраво, что Талызину показалось это, наконец, вполне должным и возможным.

– Как угодно, – протяжно проговорил он. – Как угодно вам... Что ж, я сейчас же велю заложить коляску... я сейчас...

– Благодарю вас, – сказал Волконский, протягивая руку.

– Я сейчас, – повторил Талызин и, быстро повернувшись, почти бегом направился в дом.

В это время со стороны двора, у крыльца дома, стояла уже коляска Михаила Петровича Бестужева, и возле нее хлопотали люди с вещами.

Сам Бестужев, одетый по-дорожному, стоял тут же, держа за руку Мишу, которого увозил с собою, к себе, не желая оставить его на руках Талызина, а тем более сумасшедшего отца.

– Просится к себе. Как вы думаете, отпустить? – спросил, подходя, Талызин, бровями показывая, что говорит про того, кто в саду.

– Отпускайте, все равно, – бегло, сквозь зубы произнес Михаил Петрович, тоже показывая глазами на Мишу, чтобы Талызин замолчал при нем: дескать, вы там, как хотите, мне все равно, а ребенка дайте увезти спокойно.

– Дяденька, – сказал Миша, – мне хотелось бы повидать на прощанье батюшку.

– Я сказал тебе, что отец твой болен и лучше не беспокоить его, – ответил Бестужев, – он скоро выздоровеет и приедет к нам.

Миша недоверчиво, глубоко вздохнул.

– Ну, готово! – проговорил Михаил Петрович. –

Едем! – и он стал прощаться с Талызиным.

Через час другая коляска стояла у крыльца. Князь Никита с Лаврентием уезжали к себе.

– А Миша, где же Миша? – беспокойно спрашивал Никита Федорович.

Ему сказали, что Миша ждет его у них в деревне, и князь Никита уехал домой в надежде, что увидит там сына.

VI. В деревне

Когда князь Никита приехал к себе в деревню и не нашел там сына, он принял это гораздо спокойнее, чем думал Лаврентий, как будто он ждал этого и был готов к тому, или как будто это новое несчастье кольнуло его в такую душевную рану, боль которой была уже настолько сильна, что ее ничем, никаким новым несчастьем нельзя было увеличить.

Он поселился в опустевшем теперь для него доме и по целым дням ходил, не проронив ни одного слова. Ужение было оставлено. Медицина и книги – все оставлено. Постройка, которую не для кого было делать, стояла в запустении, доски мало-помалу разносились, кто хотел ими пользоваться, и пробитая к ней тропинка заросла свежей, зеленою травой.

Князь Никита ничего не делал и ни с кем, даже с Лаврентием, не говорил. Ел он редко, когда попадет, спал, когда случится, иногда среди дня, где-нибудь в углу, на кресле. Ночи почти всегда были у него бессонные.

«Ух, тяжело! – думал он всегда одно и то же, – тяжело вот тут, – он брался за грудь и сдавливал ее. – Один... один... Всех взяли, всех увезли... Но я снесу... И его увезли... Тяжело!.. Они думают, что я сумасшед-

ший, – но мне легче было бы, если бы я с ума сошел. Я не понимал бы тогда, а тут я живу, я понимаю...»

Иногда он пробовал закрывать глаза и, закрыв их, вызывал пред собою милые ему образы, – и тогда недавнее прошлое представлялось ему так ясно, так подробно, как будто он все еще жил в нем. Это облегчало на один миг, на один миг приносило отраду; но глаза открывались – и действительность становилась еще мучительнее, чувствовалась еще живее.

Князь Никита не пропускал ни одной церковной службы.

Он часто тоже молился пред большой киотой в спальне, пред которой столько лет каждый день утром и вечером читал молитвы, стоя вместе со своей княгиней. Порою, когда он с закрытыми глазами и со сложенными руками опускался теперь здесь один на колена, ему вдруг казалось, что рядом с ним снрва шепчет милый, тихий голос, повторяя за ним. Это был голос ее, Аграфены Петровны, и князь Никита обыкновенно слышал его так ясно, что верил, что это она, действительно она приходила к нему.

Он писал длинные письма и жене, и сыну, и Михаилу Петровичу, но не получал ответа, словно его письма не доходили никуда.

Так прошло месяца три.

Князь Никита все молчал по-прежнему, подолгу гля-

дел в одну случайно попавшуюся на глаза точку, выходил из дома с непокрытою, несмотря на дождь и непогоду, головою и по целым дням без отдыха и устали бродил, не замечая, куда он идет. Он часто подходил так к обрыву реки, но также бессознательно поворачивал назад, как и подошел, словно кто-нибудь удерживал его и отводил от опасного места.

Крестьяне уже привыкли встречать его так, и с сожалением, соболезнуя, долго провожали глазами «своего несчастного князиньку», как они говорили.

Наконец душевное состояние князя Никиты дошло до таких пределов невыразимой, безмерной муки, что он по временам терял сознание под ее безысходным гнетом.

У него явились совсем особенные, не свойственные другим людям движения. Так, по временам он выставлял перед собою согнутые руки и, плавно и мерно приседая, поводил ими вперед и назад, будто плыл. Ему все казалось, что внутри его будто колыхается что-то, точно хочет поднять его от земли.

Раз он вернулся после целого дня ходьбы в таком состоянии, что даже привыкший к его виду Лаврентий поразился. Князь Никита, как лунатик, не видя ничего по сторонам, прошел прямо в комнату, которая прежде называлась его комнатой (теперь такое название не имело уже смысла – он был один во всем до-

ме), и приблизился к столу.

«Что-то мне тут нужно было? – вспоминал он. – Но что?... Я зачем-то шел сюда...»

На глаза ему попался ножик; он отбросил его.

«Библия!» – вспомнил князь и взял со стола запыленную толстую книгу.

Прежде он часто, когда его мучило что-нибудь, брал эту книгу, разворачивал ее наугад и всегда находил себе ответ. Он вспомнил это теперь и хотел посмотреть, что скажет ему Библия.

Он зажмурил глаза, как всегда делал, взял обеими руками книгу, повернул ее вверх обрезом и, перебрав большими пальцами края листов, быстро раскрыл, словно сломал ее на две части.

Ему открылся тридцать седьмой псалом:

«Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет у меня.

Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.

Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни.

А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих.

И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа.

Ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи Боже мой...»

– Ты услышишь, Господи Боже мой! – повторил вслух князь Никита и положил книгу на место.

И ему стало легче.

Теперь душевная мука как-то меньше мешала его мыслям слагаться последовательно и связно. Теперь он мог заняться ими и хоть на некоторое время отвлечься от своих мучении.

«Что-то важное нужно мне было обдумать, – рассуждал он. – Да! Весь вопрос в том, болен я или нет, сумасшедший я или не сумасшедший. Впрочем, это все равно. Но как поступил бы здоровый человек на моем месте?»

Он первый сомневался в здравости своего ума.

«Конечно, я болен, – решил он, – разве здоровый человек сидел бы так, когда никто не мешает поехать хоть сейчас к ней и жить возле ее Тихвинского монастыря».

Волконский узнал через Лаврентия, что Аграфена Петровна была сослана в Тихвинский монастырь.

«Однако эта мысль все-таки пришла мне в голову, – сейчас же подумал он, – значит, я еще не совсем того... Завтра же подумаю, как ехать туда... Но отчего же завтра?... А вот отчего: имею ли я право ехать туда, если так нужно, чтобы мы некоторое время были

по-человечески розно?... Я могу поехать, но это будет слабостью... Значит, я нарушу испытание, и освобождение моего духа отложится... Это так, а теперь оно близко... близко».

Князь пошел к образу и забыл, о чем только что думал.

Через несколько дней он опять вспомнил об этом и стал собираться в Тихвин, но мысли его опять рассеялись, словно растаяли. Однако он все-таки не решил окончательно не ехать, а только как-то не мог во всех подробностях мысленно охватить свое предположение; всегда, дойдя до известного места, рассуждения его сворачивали в сторону так же неволью, как он сворачивал, близко подойдя к обрыву реки.

Вечера с каждым днем становились длиннее. Наконец выпал снег, и наступила зима, принеся со своим снегом, холодом, ранними сумерками и заунывным воем метели еще больше тоски и томления. Но и зимою князь Никита по-прежнему выходил из дома, и если б следивший за ним Лаврентий не успевал накидывать на него его беличью короткую шубку, он так и шел бы на мороз без верхнего платья.

А через несколько времени, в январе 1730 года, скончался от оспы в Москве молодой император Петр Алексеевич. Российский престол снова был свободен, и снова поднялся вопрос: кто займет его?

В деревню князя Никиты эти новости хотя и дошли очень скоро, и Лаврентий сообщил ему их, но князь как-то не придавал важности этому событию. Ему не пришло в голову, что участь его Аграфены Петровны зависит теперь от лица, которое взойдет на этот престол, и что княгиня Волконская, обвиненная по прощам Остермана, сильного в царствование молодого Петра, может получить помилование теперь, если при изменившихся обстоятельствах сам Остерман впадет в немилость.

Екклезиаст говорил:

«Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда.

И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для каждой вещи и суд над всяким делом там».

В конце февраля стояли еще морозные дни, но они были ясны, и снег ослепительно блестел под игравшими на нем лучами солнца.

Князь Никита в своей беличьей шубке прошелся далеко по полю по дороге и возвращался через деревню домой.

Какое-то непривычное, странное оживление было заметно на деревне. Староста с дубинкой ходил под оконца изб, постукивал и вызывал мужиков. Те выходили, оправлялись и нехотя, но все-таки поспешно по-

двигались к церкви. Бабы прятались.

У церкви собралась уже большая толпа. На паперти стояли несколько приезжих военных, губернаторский чиновник и деревенский священник во всем облачении и с крестом в руках.

Князь Никита не спеша подошел к толпе, которая все прибывала. На паперти, видимо, заметили его приближение, потому что офицер, показывая на Волконского, спросил что-то у чиновника и кивнул головой.

– Дядя Ермил, али драть кого будут? – спросил неподалеку от Никиты Федоровича подбежавший парень, обращаясь к стоявшему сзади толпы мужику и вздрагивая плечами, не обходившимися еще на морозе.

– У, дурень, драть! – ответил Ермил. – Слышь царский указ читать будут.

– Это чтобы сейчас вольная? – беспокоился парень, но дядя Ермил уже не ответил ему.

Две какие-то бабы с коромыслами на плечах подошли было тоже к толпе, но, увидев на паперти чиновника, ахнули и, побросав ведра, стремглав, сдуру, кинулись прочь бегом.

В это время староста, степенный мужик, обойдя, должно быть, деревню, подошел без шапки к губернаторскому чиновнику и с низким поклоном доложил

ему что-то.

Чиновник даже не обернулся на этот низкий, почти земной поклон старосты и, махнув рукою остальным мужикам, и без того стоявшим без шапок, в полном молчании, развернул большую бумагу с печатью. Военные приложили руки к шляпам.

Чиновник прочел манифест о восшествии на престол государыни императрицы Анны Иоанновны. Он читал очень дурно, и чтение продолжалось очень долго, он давно охрип, видимо, не в первый уже раз читая манифест на холоде.

Когда чиновник кончил, толпа некоторое время оставалась сначала безгласною. Потом вдруг откуда-то из задних рядов послышался пробасивший голос:

– Не согласны!

Стоявший у самой паперти староста вздрогнул и, побледнев, беспокойно обернулся, отыскивая глазами того, чей был этот голос. Но этот голос сейчас же стал голосом всей толпы.

– Не согласны, не согласны, – сдержанно, но потом все смелее послышалось кругом.

Чиновник растерянно оглянулся и посмотрел на офицера, как бы ища его помощи. Офицер молча смотрел на толпу, сурово поводя глазами и наморщив брови.

А волнение толпы разрасталось.

– Ишь нашли – императрица! Как же... когда сам царь Петр жив... жив... пра-а!.. К нам едет... Не согласны... как же... а энто опять... Жив... И по старому закону...

Толпа гудела бессвязные, бессмысленные речи. Очевидно, ходившие толки повлияли на мужиков, они что-то слышали и хотели как-то показать свою разумность, протестовали против чего-то. Но князь Никита, следивший теперь за всем происходившим, понимал только одно – и это было для него главное в эту минуту, – что эти люди, запротестовавшие под влиянием сбившей их с толку молвы и неожиданного объявления о воцарении новой императрицы (он не успел еще вспомнить, что это была та самая Анна Иоанновна, которую он знал бедною, забытою герцогиней в Курляндии), – бормотали свои несуразные слова, собственно, не желая никому зла; вместе с тем князь Никита видел, что стоявший на паперти офицер тоже зла никому не хотел, но лицо его становится все грознее и грознее, и пройдет еще минута – и офицер велит бить этих людей, и им будет больно, и это будет ужасно, и, главное – не нужно.

Князь сделал шаг вперед. Толпа вдруг расступилась пред ним, пропуская его.

Да, пред этим спокойным, неподвижным, тихим ли-

цом и нельзя было не расступиться толпе. Князь Никита сильно изменился в последние полтора года. Бледный, высокий лоб его покрылся морщинами, щеки, покрытые сквозною бледностью, ввалились, в глазах светился лихорадочный огонь, губы побледнели, и весь он исхудал, как только может исхудать человек.

Высокий, строгий, смотрящий прямо перед собою, он прошел среди толпы, которая вдруг вся, заметив его, притихла, поднялся на две ступени паперти и высоко поднял правую руку.

Священник, воспользовавшись минутой тишины, начал читать слова присяги, и князь Никита слабым, но внятнм голосом стал присягать, как помещик за себя и за своих крестьян новой императрице Анне Иоанновне, а затем, кончив присягу, спустился со ступеней паперти, и снова, не обращая ни на кого внимания, ушел по дороге в поле.

Чиновника и военных угощал в барском доме Лаврентий.

VII. Гость

Никита Федорович, как обыкновенно, сидел вечером дома в большом кресле и не то грезил наяву воспоминаниями прошлого, не то дремал, потому что спать он не мог.

На дворе крутила метель, с подветренной стороны заносившая маленький домик снегом выше окон. Метель жалобно пела свои бесконечные песни и белыми вертящимися призраками носилась кругом, словно ища, с которой стороны ворваться ей в жильё, и сердилась, что это жильё не пускало ее.

Восковая свеча тускло горела на столике у кресла, где лежала развернутая Библия.

Вдруг в этих однообразных, надоевших и приучивших к себе ухо звуках метели послышался какой-то новый, задорный, привходящий звук. Это были колокольчик и бубенчики.

Князь Никита прислушался: колокольчик звучал под самыми окнами.

Лаврентий хлопнул дверью своей комнатки и тяжелыми, быстрыми шагами побежал в сени.

Скоро в сенях послышались стук, кашлянье и возня. Кто-то приехал.

Но Никите Федоровичу было безразлично. Пусть

приезжают! Это его, как ничто другое, не могло заинтересовать.

– Батюшка, князинька, – послышался голос Лаврентия, – посмотрите, приехал-то кто?

В комнату входил Черемзин.

Волконский как-то написал ему, и, получив это письмо и узнав обо всем случившемся, Черемзин при первой же возможности собрался и приехал навестить князя Никиту.

Об истинном положении «князиньки» Лаврентий успел уже в передней доложить Черемзину, который, впрочем, и по письму уже догадывался.

Никита Федорович быстро встал навстречу гостю и исподлобья взглянул на него, точно конфузясь и стыдясь приятеля. Он остановился с опущенными руками, выпрямившись во весь рост...

– Батюшка-барин, садитесь, – заговорил Лаврентий, подставляя посетителю стул, – сейчас я вам принесу с дороги-то закусить, да горяченького чего-нибудь... я сейчас, сейчас! – и взволнованный старик слуга, подбирая слезы, побежал за горяченьким.

Черемзин сел против князя Никиты, который вместо радости, вместо всякого другого чувства, продолжал ощущать все свою неловкость, охватившую его при появлении нежданного гостя.

Эти два человека, сидевшие с глаз на глаз и на-

чавшие когда-то почти вместе жизнь, были теперь совершенно не похожи друг на друга. Никита Федорович был худ, бледен, изнеможен и едва держался в коже и косточках, как говаривал Лаврентий, Черемзин же был румян, бодр, здоров, видимо, привык встречать только улыбку жизни и избалован ею, казался не только свежее, но и моложе своего товарища детства.

Черемзин думал, что он сделал все от него зависящее – приехал за тридевять земель, специально для того, чтобы навестить Волконского, помочь ему и утешить его, но теперь видел, что тут ни помочь, ни утешить нельзя. И чувство конфузливости и неловкости стало мало-помалу овладевать и им.

– Вот беда – спать не могу совсем! – произнес вдруг почему-то князь Никита, как будто все его горе и заключалось только в этом.

У Черемзина сердце сжалось щемящею болью. Ему было невыносимо жалко смотреть на Волконского. Он только теперь понял все его ужасное положение, которое издавека казалось ему не таким беспомощным.

Лаврентий принес закусить.

– Ну, как вы, барин? – спросил он Черемзина. – Как изволите жить? Давно ведь не видели – с самого последнего приезда.

Черемзин был благодарен Лаврентию, что тот за-

говорил и дал, так сказать, возможность выйти из неловкого молчания. Действительно, трудно было начать о чем-нибудь беседу. Говорить о самом князе Никите и его горе – значило еще больше растравлять его. О самом себе Черемзин боялся говорить, потому что был слишком счастлив, слишком избалован своей жизнью.

– Жениться изволили? Деточки есть? – спросил между тем Лаврентий.

– Да, я женат и дети есть, – ответил Черемзин тихо, точно извиняясь за свое счастье.

– Ты женат? – спросил Волконский.

– Да, на Трубецкой, помнишь? и тебе обязан этим.

– Как мне? – удивился князь Никита. – Отчего мне?

– Да как же! Помнишь, когда я приезжал... – Он хотел сказать «к вам», но удержался, – приезжал сюда, отчаявшись, что моя Ирина Петровна будет когда-нибудь моею... Тогда старый привередник-князь – он жив до сих пор и уже во многом переменялся, – не желая отдавать дочь за меня, придрался к тому, что я не на десять лет старше ее, а только на девять.

– Ну? – спросил Волконский, и в его глазах появилось как будто внимание.

Этот свежий, здоровый голос Черемзина и сам Черемзин, говоривший о вещах, совершенно противоположных тому, о чем князь Никита думал изо дня в

день, перебили его думы, ворвались к нему и готовы были охватить и хотя на миг рассеять его.

Никита Федорович невольно подчинился рассказу гостя и стал следить за ним.

Хотя ему говорили, что все это он должен был помнить, однако, он ничего не помнил и слушал как новое, но тем не менее почему-то занимательное.

– Ну, и ты же мне помог тогда, – продолжал Черемзин с большим оживлением, видя, что его слова производят благоприятное действие. – Ты меня уговорил ехать назад в деревню к себе и дал мне с собою запечатанную бумагу. В ней я нашел расчет, по которому выходило, что я старше Ирины Петровны на столько именно лет, на сколько требовал ее отец. Трубецкой только развел руками и согласился.

– Как же это так? – опять спросил Волконский, двигаясь.

Он чувствовал, что рад, что ему говорят о постороннем, и что он может направить свои мысли на это постороннее.

– Очень просто, – пояснил Черемзин, делая вид, что тут не было ничего странного в том, что князь Никита забыл об этом. – Видишь ли, я родился в 1689 году. В 1727 году, когда я женился, Ирине Петровне было двадцать девять лет. Старик Трубецкой вычел тогда 1689 из 1727 и решил, что мне 38 лет, понима-

ешь? Но дело в том, что я родился в октябре. Ты и вспомнил, что у нас до 1700 года новый год встречали в сентябре, и только с этого года – с января. Таким образом вышло, что в 1699 году было два октября. В первый октябрь мне минул десять лет, во второй – одиннадцать, а в октябре 1700 года было уже двенадцать. Значит, в 1727 году мне было тридцать девять лет... и я оказался старше своей невесты ровно на десять лет. Она же родилась в июле, и поэтому относительно ее не могло произойти ошибки.

– Так! – произнес Волконский. – И неужели это я придумал тогда?

– Да, ты.

Разговаривая таким образом, Черемзин ни разу не намекал, ни коснулся того, что могло бы затронуть и разбередить душевную рану Никиты Федоровича.

Он пробыл у князя опять недели две и все время был разговорчивым и занимательным. Он знал, что помочь Волконскому ничем нельзя, а можно было только облегчить его нравственные страдания, и это облегчение состояло лишь в том, чтобы по возможности рассеять его.

Он звал Никиту к себе.

– Куда мне! – грустно ответил Никита Федорович, и Черемзин перевел разговор на другую тему.

Через две недели он уехал к себе в деревню, к сво-

ей Ирине Петровне, любящей и любимой, с которой в первый раз после свадьбы расстался, чтобы навестить друга. Он невольно стремился к ней, к своей счастливой, тихой жизни. Теперь он чувствовал еще глубже, еще осязательней то счастье, которое выпало на его долю.

Приезд Черемзина освежил Никиту Федоровича.

Он с Лаврентием проводил гостя, как близкого, как родного человека.

– И посмотрю я на вас, князинька, – сказал Лаврентий Никите Федоровичу, – за что судьба слепа так! Отчего другим счастье здесь посылается, а вам не дано оно? Чем, правда, прогневили вы Господа? Кажется, другого такого я и не видывал, а вот доброта ваша не имеет награды!.. Уж я и так думал: правда, есть несчастливые, и еще несчастнее вашего, да нам-то от этого разве легче... легче разве? – с сокрушением повторил он.

Никита Федорович сидел, опустив голову на руки, и задумчиво слушал старика слугу.

– Ты жалеешь меня, – вдруг сказал он, – находишь несчастным, потому что у нас был добрый человек, которому здесь, на земле, хорошо живется. Вот ты и меня пожалел. А чего жалеть меня? Я не жалею. Недолго осталось. А здесь жизнь все равно – испытание; и ему, – он говорил про Черемзина, – в его сча-

стве испытание, и мне в моем горе – тоже испытание. И его испытание гораздо труднее моего. Нет, жалеть меня не нужно... не нужно, Лаврентий! – заключил князь Никита и снова задумался.

Лаврентий взглянул на него молча, вздохнул и ушел к себе.

Вскоре после отъезда Черемзина Никита Федорович, облегченный ненадолго в своем страдании, снова был охвачен им, и снова его мысли сосредоточились на прежнем, и недуг завладел им.

VIII. Снова в Петербурге

Та самая Анна Иоанновна, незначительная герцогиня маленькой Курляндии, которая содержалась в Митаве из политических видов, у которой никто не спрашивался, не спрашивал, нравится ли ей самой тоска и скука, которую она испытывала, проводя лучшие годы взаперти, – та самая герцогиня Анна, которая робела перед Меншиковым и приезжала в Петербург хлопотать за своего Морица и которой запретили думать о Морице и велели снова ехать в ненавистное ей «свое» герцогство, – та самая, которая так недавно еще беднялась, жаловалась на свою судьбу, не видела выхода впереди и со «вдовьим сиротством» переносила свое положение – теперь вдруг стала могущественной государыней России.

Обстоятельства сложились так, что чем забитее, чем униженнее была удаленная от двора и всех его интриг дочь Иоанна Алексеевича, родного брата императора Петра, тем оказалась вернее и надежнее дорога ее к Российскому престолу.

По смерти Петра II члены Верховного тайного совета рассудили ограничить императорскую власть и получить львиную часть в управлении государством.

– Батюшки мои, прибавьте нам как можно больше

воли! – слышалось тогда на совещаниях.

И вот была избрана смиренная, как думали, при-
выкшая к подчинению герцогиня Курляндская, то есть
лицо, которое вполне соответствовало планам «вер-
ховников», как называли тогда господ, захвативших в
свои руки власть.

Ей посланы были в Митаву приглашения и ограни-
чительные пункты, которые она должна была подпи-
сать.

Анна Иоанновна, подписав пункты, явилась в Моск-
ву государыней. Но как только верховная власть пе-
рестала быть отвлеченною, воплотилась в живое ли-
цо, так всякие мудрые и хитрые ограничения пали са-
ми собою. Анна Иоанновна явилась государыней, и
Россия, вопреки «верховникам», назвала ее самодер-
жавною, потому что не хотела и не могла полюбить
другую власть.

Ограничительные пункты были разорваны, «вер-
ховники» подчинились без возражений, и Анна Иоан-
новна короновалась единовластною и самодержав-
ною. Полученные ею в молодости предсказания о ко-
роне сбылись.

Первые два года своего царствования Анна прове-
ла в беспокойстве в Москве, не зная, насколько силь-
на она, и насколько серьезна та опасность, которая
может возникнуть от готовых с каждым днем появиться-

ся придворных интриг.

Это беспокойное, переходное состояние наконец выяснилось к концу второго года. Главная надежда была на гвардию, в преданности которой нельзя было уже сомневаться, и Анна Иоанновна решилась переехать в Петербург на постоянное жительство, со спокойным сердцем оканчивая свое временное, тревожное пребывание в Москве.

Торжественный въезд императрицы в Петербург состоялся в начале января 1732 года.

Анна Иоанновна поселилась в старом зимнем дворце и уже на свободе устроила свою жизнь так, как ей хотелось.

Дела государственные ведал учрежденный ею вместо прежнего Верховного совета кабинет министров.

Совершенно неподготовленная к тому месту, которое судьба предназначила ей, Анна Иоанновна занималась с гораздо большею охотою своими личными делами. И в этих личных делах был один маленький уголок, было одно воспоминание, которое не раз уже приходило ей в голову с тех пор, как она стала всемогущею повелительницей.

Многие из тех, против кого она прежде имела что-нибудь, получили уже, по ее мнению, «должное», но Аграфена Бестужева, по мужу княгиня Волконская, жила, сосланная в монастырь: ее «дело» был дав-

ным-давно закончено и рассмотрено, и для его возобновления не было повода. Аграфена Петровна со своим монастырским житием как-то уходила из-под власти новой государыни, становилась для нее как бы недосыгаемой, словом, к ней нельзя было подойти ни с какой стороны.

«А где ее муж?» – вспомнила однажды Анна.

Ей доложили, что он – слабоумный, проживает у себя в деревне.

Анна Иоанновна приказала представить ко двору «слабоумного» князя Волконского и сама написала о том в Москву, к Салтыкову.

С этим письмом поскакал нарочный в Москву, и Салтыков поспешил исполнить приказание государыни.

В феврале в придворной оранжерее созрели ананасы. Анна Иоанновна со всем своим штатом ездила смотреть эту диковинку, только что появившуюся из жарких стран, сама собственноручно срезала два ананаса и, оставшись очень довольна этим, вернулась во дворец веселая и в духе.

Там ей вдруг стало жаль своего хорошего расположения. Она в полдень пообедала, до ужина еще было далеко, а делать, казалось, решительно было нечего, и Анна Иоанновна боялась, что ей станет скучно.

Спросить сластей и есть она не могла, потому что

покушала в оранжерее ананаса; заставить фрейлин петь, – но тогда ничего не останется к вечеру. По вечерам обыкновенно она заставляла фрейлин тешить себя пением.

Она уже начинала хмуриться, как вдруг расторопная, говорливая Авдотья Ивановна Чернышева, стоявшая у ее кресла и следившая за выражением во всех подробностях изученного лица государыни, сказала как раз вовремя:

– Матушка императрица, сегодня из Москвы привезли слабоумного – князя Никиту привезли.

Лицо Анны Иоанновны оживилось.

– Что ж раньше мне никто не сказал? – воскликнула она. – Приведите его, приведите!

Несколько фрейлин бросились исполнять это приказание.

Князя Никиту ввели, и Анна Иоанновна остановила на нем долгий-долгий, казавшийся насмешливым взгляд.

Он стоял, глядя прямо перед собою и, казалось, не только не обращал ни на что внимания, но даже не понимал, где он и что с ним. Глаза его остановились где-то сверху, повыше Анны, лицо был серьезно, только рот сложился в неестественную, жалкую улыбку.

С тех пор как его одного, запретив ехать с ним Лаврентию, взяли из деревни, и он очутился в темном, уз-

ком пространстве возка, откуда его не отпускали всю дорогу, он потерял всякое сознание окружающего.

Жизнь, к которой он привык в последние четыре года, то есть с тех пор как взяли у него жену и сына, была перебита. Он единственно хотел двигаться и все ходил, все ходил, и от этой ходьбы, от утомления телесного, ему становилось лучше, и душевная боль стихала, и мысли были яснее; но когда его вдруг заперли в темный возок, лишили света и движения, мысли его остановились, потом рассыпались, растаяли, и он вовсе потерял сознание.

Князь был привезен с утра, ему дали пройтись по саду и, кажется, облили голову холодной водой; но он все-таки никого не узнал, когда ввели его к императрице.

– Ну, здравствуй, князь! – ласково произнесла она. – Аль не узнал меня?

Никита Федорович не только не узнал ее, но даже не слышал ее голоса. Он по-прежнему стоял, жалко улыбаясь, и смотрел пред собою.

Анна Иоанновна подождала.

– Да ответь что-нибудь! – сказала она наконец. – Ты глухонемой стал, что ли?

И вдруг на спокойном, восковом лице князя Никиты появилось выражение неизъяснимой кротости, он точно, просиял весь и еще улыбнулся.

– Аграфенушка! – протяжным, долгим, тихим шепотом сказали его губы.

Это лицо, этот шепот, эта кротость и улыбка были трогательны, жалки и беспомощны; но никому из присутствующих не показались они такими, или, вернее, никто из присутствующих не счел уместным показать, какое впечатление производил этот человек, приведенный Бог знает откуда, по капризу своевольной повелительницы.

Однако молодые фрейлины опустили глаза; им хотелось плакать, и они мысленно уже читали молитву, чтобы прошло для них благополучно это испытание.

Одна только Анна Иоанновна продолжала торжествующе весело смотреть на князя Никиту.

«А ведь ты знала его, – где-то глухо говорил в ней какой-то голос, – знала совсем иным и не ожидала, что он стал таким. Тогда было другое, тогда он молодой был, на лошади, в ярком шелковом кафтане; потом с книгой у окна; но и ты была тогда другая...»

Шут Педрилло в своем пестром камзоле вдруг нагло подошел к Волконскому и, посмотрев ему в глаза, хлопнул по плечу, а затем стал с ним рядом.

– А ты, князь, повыше моего будешь, – это хорошо! – одобрительно сказал он.

Ничего не было ни смешного, ни остроумного в этих простых и грубых словах, но Анна Иоанновна вдруг

раскатилась громким, неудержимым смехом, как будто этот смех давно уже был готов сорваться у нее, но только раньше не было к нему ни малейшей причины, а теперь явилась возможность – и она рада была придраться.

И вслед за нею кругом захохотали все, захохотали неестественно, притворно. Громче и голосистее всех смеялся Педрилло.

Среди этого смеха, который вдруг поразил князя Никиту своим особенным, давно уже не слыханным им гамом, в тумане, застилавшем мысли князя, вдруг стал образовываться светлый промежуток.

«Где я, что со мною? – думал он. – Куда я попал, и кто эти люди?»

И он стал пристально всматриваться в хохотавшую пред ним, с трудом узнавая в этой, казавшейся старше своих тридцати восьми лет, растолстевшей женщине с огромным красным лоснящимся лицом прежнюю герцогиню Курляндскую, Анну Иоанновну.

У ног ее дрожала, робея и с испугом оглядываясь на смеющихся людей, как бы спрашивая, что с ними, маленькая собачка-левретка.

Анна Иоанновна перестала смеяться, мало-помалу точно удерживаясь, и сделала вид, что отирает с глаз выступившие от смеха слезы, так уж все это было забавно ей. Наконец она опустила руки на колена и по-

двинула ноги вперед, словно от усталости. Левретка, которую она задела, чуть отодвинулась вперед.

– Ах, и ты здесь? – обратилась к ней императрица. – Ну, поди-ка, куси, кси, обижают! – произнесла она приторно-жалобным голосом, показывая на князя Никиту.

– Куси... кси... ксс... – послышалось кругом.

Левретка еще больше сгорбила свою и без того горбатую, тонкую спину и, обернувшись с оскаленными зубами по сторонам, медленно перебирая лапками, подошла к князю Никите и завилыла хвостом.

Он никак не мог понять, что все это значило.

В это время сзади него послышался шум быстро растворенной двери, и Чернышева вбежала стремглав. Анна Иоанновна вздрогнула и с испугом и гневом взглянула на нее. Но та не смутилась.

– Письмо от его сиятельства графа Бирона, – смело проговорила она, подавая письмо.

Теперь уже истинное, настоящее удовольствие осветило лицо императрицы; она поспешно выхватила письмо из рук Чернышевой и, сделав знак, чтобы все вышли, стала распечатывать его.

Уехавший ненадолго к курляндской границе, навстречу своей семье, недавно пожалованный граф Российской империи, обер-камергер и первое лицо теперь в государстве, Эрнст Иоганн Бирон писал, что

на днях вернется в Петербург.

Князю Никите показали отведенную ему во дворце, внизу по коридору, комнату. Придя сюда, он не заметил, что маленькая левретка увязалась за ним и прошмыгнула в дверь. Она попалась ему под ноги, но он не обратил внимания.

Он сел на свою постель и, опустив на колени руки, задумался. Теперь он узнал дворец, узнал Анну Иоанновну и понял, что он в Петербурге.

Он успел спросить про Лаврентия, ему сказали, что тут никакого Лаврентия нет.

Князь Никита не разбирал, зачем он снова попал в Петербург, зачем его привезли сюда; об этом он решил подумать после, как только разберется сначала в другом каком-то нужном вопросе. Что-то в голове вертелось у него важное, но он не мог вспомнить.

«Да, где она?» – как будто вспомнил он, и это, казалось, было то самое, что нужно было вспомнить, но он почти сейчас же забыл опять.

– Ах, нет, – проговорил он вслух и сморщил лицо, – один, один я – вот что, вот что надо решить! Никого ведь нет, и поговорить даже не с кем.

Он несколько раз отмахнулся от себя рукою, словно хотел прогнать муху, снова положил руки на колена и затих.

Левретка давно уже сидела прямо перед ним на по-

лу и, будто стараясь заглянуть ему в глаза, умильно помахивала хвостом.

Наконец она, поняв, должно быть, что князь все-таки не замечает ее, быстро прыгнула в постель и, дрожа и прижимаясь к нему, сунула мордочку к его руке и осторожно, как бы спрашивая, можно ли, – лизнула эту руку.

Никита Федорович не испугался и не отнял руку. Он с удивлением взглянул на эту маленькую собачку, вдруг, видимо, сразу почувствовавшую жалость к нему и приласкавшую его. Да, она робко, по-своему, по-собачьему, приласкала его. И это было единственное существо, отнесшееся к князю здесь дружелюбно; это была первая ласка, полученная им в последние четыре года!

Левретка умными, выразительными глазами смотрела на него.

«Ты не один, ты не один», – будто говорили эти глаза.

Волконский невольно стал гладить собачку, и она, сознавая, что ласка ею принята, и притом, как должно, снова стала лизать гладившую ее руку.

Что-то давно неизвестное зашевелилось в груди князя Никиты, давно незнакомые, теплые слезы показались у него на глазах и потекли, принося и печаль, и облегчение.

Его оставили в покое три дня, как будто забыли о нем.

Он узнал, что граф Бирон вернулся с курляндской границы и теперь был при государыне.

«А ведь где-то был тут, в Петербурге, мой дом... наш дом, – подумал князь Никита, и новый прилив тоски охватил его при этом воспоминании. – Пойти разве, отыскать его? – Но через минуту он подумал – Господи, все это – томление духа, одно томление духа. Когда же, когда придет освобождение?... Поскорей бы, поскорей! Господи, да будет воля Твоя!»

Под конец третьего дня он ходил искать свой дом, но никак не мог найти его и даже прежнего места не узнал.

Князь вернулся во дворец. Вопрос: зачем он попал в Петербург, так и остался для него нерешенным, потому что для него опять наступила потеря сознания.

Что было потом, и сколько прошло времени – Волконский не помнил.

Новый светлый промежуток явился к нему, когда он увидел себя в штофной комнате дворца с позолотой и зеркалами, сидящим почему-то в кресле, поставленном в ногах кушетки, на которой полулежала Анна Иоанновна. Неподалеку на полу сидел на корточках шут Педрилло; рядом с ним – калмычонок. Чернышева стояла у печки и без умолку, как заведенная, тара-

торила.

В двери входил граф Бирон. Калмычонок и человек в пестром камзоле (князь Никита не знал, что это – Педрилло) быстро вскочили при его появлении. Бирон покосился на оставшегося спокойно сидеть на своем месте Никиту Федоровича, подошел к императрице и почтительно поцеловал ей руку.

– Сейчас был в сенате, – заговорил он по-немецки.

– Ну, что там? – спросила Анна Иоанновна.

– Это невозможно, неслыханно, колоссально! Когда я недавно в Курляндии ездил – все мосты были никуда не годны, и карета моя совсем испортилась. Я призывал сенаторов и сказал, что я велю их для исправления вместо мостов положить.

Государыня рассмеялась.

– Я вот им в сенаторы князя Никиту дам, – сказала она, – князь Никита, хочешь в сенаторы?

– Нет, не хочу, – совершенно просто ответил Никита Федорович слабым голосом.

Императрица еще больше рассмеялась.

Князь Никита сознавал теперь все окружающее, но чувствовал во всем теле удивительную слабость. Он говорил с трудом. В голове, во всех мускулах лица, а главное, в затылке он ощущал ноющую болезненную усталость.

Анна Иоанновна видела, как поморщился Бирон на

не вставшего пред ним князя Никиту, и заметила, что ему не приятно было, зачем она допустила это.

Ей хотелось разговорить графа.

– А вы знаете, что завтра будет? – обратилась она к Бирону. – Завтра на рассвете при хорошей погоде, – впрочем, и при дурной тоже – по Невской перспективе по гладкой дорожке повезут на салазках железную клетку, и в этой клетке будет сидеть красавица писаная, разубранная во весь свой наряд, в великолепном одеянии, с метлой на голове и в рогожной шали, с пеньковыми буклями... Кто бы вы думали?

Бирон, улыбаясь, уже смотрел прямо в глаза ей.

– Не знаю, – сказал он.

– А вот женка его Аграфена. Я ее на свидание с муженьком выписываю, – спокойно проговорила, хитро прищурясь, Анна Иоанновна, показывая на князя Никиту.

Волконский не мог побледнеть, потому что на его лице давно не было ни кровинки, не мог ужаснуться, потому что он давно носил в душе чувство, которое был и мучительнее, и сильнее всякого ужаса. Он видел теперь только, что силы совсем оставляют его и что он не может ничего ни сказать, ни сделать.

– Что князьенька, невеселы стали? – вдруг обернулась к нему Анна Иоанновна. – Али осердились на меня? Простите меня, сироту вдовую! – Она рассмея-

лась. – Ну, помиримтесь, полно... нате, целуйте! – и она протянула князю Никите свою обутую в кожаную туфлю ногу.

Волконский не двинулся.

Нога оставалась протянутою.

Бирон несколько раз взглянул бегло то на Никиту Федоровича, то на ногу и вдруг вскочил со своего места. Он казался очень возмущенным.

– Неблагодарный шут! – сказал он. – Позвольте мне, государыня! – и он наклонился.

– Нет, зачем? – застенчиво проговорила Анна Иоанновна. – Оставьте его – он блаженненький, пусть его, а вам руку, – и она подала Бирону свою пухлую, с короткими пальцами и плоскими, с резкими черными каемками на концах, ногтями руку.

Граф взял ее своими белыми, тонкими пальцами в кольцах и бережно поднес к губам.

Князь Никита все сидел по-прежнему.

– Шут, – наконец слабо, едва слышно проговорил он – Чем я шут? А впрочем, там, где немецкий конюх первым министром, – там русскому князю, чтобы не становиться с ним на одну доску, пожалуй, остается одно уж...

Бирон не дал ему договорить, он вскочил. Но императрица тоже вскочила и, умоляюще отстраняя графа, громко вскрикнула:

– Ах, только не при мне! Завтра я все велю...

И она выбежала из комнаты.

Бирон бросился за нею.

Князь Никита вдруг встал и, сам не зная как, точно его кто-то вел, вышел на улицу. Через несколько минут его уже искали по всему дворцу.

Никита Федорович шел по улицам Петербурга так же, как ходил в поле своей деревни – без цели, не зная расстояния и забыв время. Иногда прохожие сторонились от него и с удивлением смотрели вслед этому человеку, одетому в грубый нескладный кафтан деревенского покроя, без шапки и теплого платья. Князь шел, не замечая холода, напротив, его голова горела, и точно какой-то молот стучал в ней.

«Что она сказала, что сказала? В клетке железной... Господи, за что? – думал он. – Завтра утром, на рассвете, если даже и дурная погода... Но скоро ли этот рассвет?... Когда он?»

И он снова шел. Руки его костенели, и коленам было холодно.

«Странно, отчего это мне холодно? – рассуждал он. – Что это за длинная улица? И какая широкая... А! Это здесь повезут ее... это – Невская перспектива».

Он остановился. Здесь нужно было ему быть, здесь остановиться.

Князь огляделся. Небо стемнело, должно быть,

давно, потому что в нем горели яркие звезды, и луна большим серебряным кругом светила со своей высоты.

Над Петербургом стояла ночь. Улицы затихли. И впервые в жизни князю Никите стала страшна луна, то есть не самая луна, а неровные тени, лежавшие на ней, когда он смотрел на нее, как будто это были какие таинственные, неразгаданные знаки, страшные, непонятные. Князь хотел оторваться от них, но не мог. Он смотрел на месяц, хотя это было страшно, и месяц смотрел на него и говорил с ним своими знаками. Он вздрагивал иногда. Кто был этот он, кто вздрагивал – месяц ли или сам князь Никита, последний не знал; впрочем, ему казалось, что месяц. Знаки все время двигались, медленно расплываясь и меняясь, опять повторяясь. В них была удивительная сила, но только понять их было нельзя.

И долго Волконский мучился так.

Наконец это мучительное состояние тревоги начало мало-помалу таять.

Перешедшая на другую сторону неба луна стала бледнеть, а звезды начали застилаться светом зари и пропадать в нем одна за другою.

Где-то близко, сверху, почти над самым ухом князя Никиты, раздался удар колокола. Он поднял голову и увидел, что стоит у церкви.

Первая мысль, которая пришла ему в голову, была – войти в Божий храм.

«Рассвет! – остановился он. – Ее повезут сейчас! В груди моей скорпионы, и змеи в сердце моем, и черви разъедают мозг мой! – чувствовал он в себе. – Ожидание, ожидание, ожидание... Вот ее повезут сейчас».

Князь, закостенелый, холодный, прижался к холодной стене церкви и безумными глазами смотрел на дорогу.

Народа был еще мало; улица казалась пустынной. Лишь несколько богомольцев прошли в церковь.

«Не скоро еще!» – подумал князь Никита и вздохнул.

Какая-то старушка с очень умиленным, слезливым лицом и склоненною набок головою, проходя мимо, набожно сунула ему грошик в руку и прошла, часто закрестясь. Никита Федорович бессознательно зажал в кулак этот зачем-то поданный ему грошик.

На дороге в это время показалась вдали лошадь, которая везла за собою что-то. Так и народ шел.

«Она», – мелькнуло у князя Никиты, и он свободною рукою схватился за стену, однако рука скользнула, он едва удержался на ногах.

Лошадь, тряся головою, придвигалась. За нею шла другая, потом третья и еще. Это был просто обоз. Чухонцы, привозившие провизию на рынок, шли тут же

в своих особенных шапках с наушниками.

«Господи, поскорей бы!» – думал Никита Федорович.

Мало-помалу улица оживлялась. Никого не везли и никакой клетки не было, да и не могло быть: рассказ Анны Иоанновны о клетке был только шуткою.

IX. В монастыре

В первое время трудно было Аграфене Петровне Волконской в монастыре. Раннее вставание, долгое стоянье в церкви, мало питательная и однообразная пища, размеренная и строго определенная жизнь, требовавшая ежеминутного подчинения, – тяготили ее. Несмотря на то что она не была пострижена, но только жила в монастыре под «строгим надзором» игуменьи, она должна была вследствие этого строгого надзора безусловно подчиняться всем монастырским порядкам.

Ей не позволяли никому писать и не допускали до нее никаких писем, так что она даже не знала, были ли на ее имя письма. Таким образом ни о муже, ни о сыне, ни о ком из своих она не имела известий.

Политические события доходили до монастыря в рассказах, почти всегда преувеличенных, сбивчивых, в которых трудно было разобраться. Однако из них Аграфена Петровна могла узнать, что великая княжна Наталья Алексеевна скончалась в Москве, затем умер молодой император, и на престол взошла Анна Иоанновна, которую стали поминать на ектениях.

О Меншикове рассказывали, что он после своей ссылки показал удивительный пример смирения и

стал совсем другим человеком. Однако он вскоре тоже умер.

«Да, ему легко теперь, – думала Аграфена Петровна. – Если б и мне!.. Все равно!.. Разве это – жизнь, как я живу теперь?»

Но сейчас же наряду с этой мыслью у нее являлась почти безумная надежда, что вдруг каким-нибудь непонятным, чудесным образом наступит ее освобождение, кто-нибудь явится и выведет ее. И она задумывалась об этом невозможном счастье и, поняв его невозможность, снова впадала в уныние.

Дни тянулись одни похожие на другие. Время шло, казалось, очень долго и вместе с тем скоро. Оно было слишком однообразно, не давало никаких событий, которые выделялись бы из ряда вон, и потому все давно прошедшее казалось свежим и недавним.

В особенности в первое время Аграфена Петровна не могла принять никакого участия в монастырской жизни.

Так прошло около двух лет, и она попривыкла, наконец, освоилась.

При своем уме и уменье жить она сумела поставить себя в монастыре и с матерью-игуменьей, и со старыми монахинями.

Мало-помалу игуменья стала менее строго относиться к ней, разрешала не так часто ходить в цер-

ковь, звала к себе, любя ее беседу, трапезовать.

Наконец Волконской был передано письмо от брата Михаила Петровича, который прислал в монастырь вклад и обещался не оставлять и впредь денежными высылками.

Игуменья поставила для переписки Аграфены Петровны ограничения, но согласилась на то, чтобы она получала известия о своих близких. Ограничения состояли в том, что письма должны быть непременно на русском языке, не затрагивать никаких других дел, кроме семейных, и главное – получаться как можно реже. Игуменья прочитывала все письма и, если бы условия эти не были соблюдаемы, прямо могла уничтожить письмо.

Самой Аграфене Петровне было запрещено писать. О ней сообщала сведения родным сама игуменья.

Как бы то ни было, для Аграфены Петровны и это было уже не малое облегчение.

О болезни своего мужа она узнала от Михаила Петровича, который со всякими осторожностями сообщал ей, что Никита Федорович впал в слабоумие, и что он, Михаил Петрович, взял Мишу к себе.

За сына теперь Аграфена Петровна была спокойна. Но вскоре последовали невеселые вести.

С воцарением Анны Иоанновны отец Аграфены

Петровны, Петр Михайлович Бестужев, был назначен губернатором в Нижний Новгород. Это назначение равнялось ссылке. Михаил Петрович должен был жить у себя в Белозерском имении. Один брат Алексей уцелел у себя в Копенгагене.

Избрание Анны Иоанновны было для Волконской, находившейся вдали от двора и всех его интриг и хитросплетений, такую неожиданностью, какую ей показалось бы только ее собственное освобождение. Но она знала, что теперь более чем когда-либо немислимо это освобождение.

Вместе с тем она понимала, что теперешняя ее ссылка в монастырь спасла ее от многого гораздо худшего.

Теперь у Анны Иоанновны руки были связаны. Что она могла сделать с ней? А что она желала бы сделать? Желала бы, припомнив и Митаву и, может быть, Петербург, отмстить ей – в этом Аграфена Петровна не сомневалась.

«Но неужели она, она стала самодержавною правительницей Русского царства? – спрашивала себя Аграфена Петровна. – Господи, если бы знать раньше!.. Но кто же мог думать?... Нет, это просто невозможно, это – неправда!»

Однако каждый день, слушая, как в церкви поминали благочестивейшую, самодержавнейшую импера-

трицу Анну Иоанновну, она могла убедиться, что это правда.

Близилась четвертая уже весна, с тех пор как княгиня Волконская поселилась в монастыре.

Аграфена Петровна сидела в своей «комнате», как все-таки по-мирскому называла она отведенную ей келью, и расчесывала свои длинные волосы, которые стали и гуще, и шелковистее, с тех пор как она перестала завивать их и прятать под фальшивые букли. Сегодня утром она мыла голову, и ей нужно было расчесать волосы.

Она смотрела в стоявшее пред нею зеркальце и почти машинально проводила гребнем по длинной пряди, которую прихватила левой рукой. Она смотрела на то лицо, которое было теперь в зеркале, – ее и вместе с тем не ее лицо. Оно сильно изменилось после того, каким помнила его Аграфена Петровна в Петербурге. Маленькие, но заметные уже морщинки легли у углов глаз, веки были красны от частых слез, губы потеряли свою свежесть, и под ними, от носа, легли тенью две складки. Щеки обтянулись, и на них показалась матовая желтизна. Правда, слюдовое оконце мало пропускало света и как бы особенно подчеркивало эти морщинки и складки, но все-таки они были.

«Да, не такая я была!» – подумала Волконская.

И ей невольно вспомнилось, как она, бывало, сиде-

ла пред большим трюмо, и Роза со служанками суетились вокруг нее.

«А где-то теперь Роза?» – мелькнуло у нее.

Она еще раз провела гребнем по волосам и опустила руку, оглядев свою черную полурясу.

«Нет, вздор – все! – вдруг решила она, – не то... Все бы отдала, если бы только увидеть их – Мишутку моего и его... Что он теперь, бедный?... В деревне, верно... Лаврентий с ним»...

Она тяжело вздохнула, и глаза ее наполнились слезами.

Княгиня отбросила гребень и, положив локти на стол, опустила голову на руки. Она чувствовала, как слезы смачивают ей ладони, но не хотела вытереть их.

– Во имя Отца! – послышался тоненький голосок за дверью.

Аграфена Петровна поспешно провела руками по глазам и, моргая глазами, чтобы не было заметно, что плакала, ответила:

– Войдите!

В комнату вошла девочка-служка с черненькими, как вишенки, глазками и быстро заговорила своим тоненьким голоском:

– Матушка прислала меня спросить, как здоровьице вашей сиятельности, и еще письмецо вам, и еще

приказать изволили, если вам неможется, то чтобы к вечерне не ходили.

Из всего этого Аграфена Петровна услышала и поняла одно только слово «письмецо», поглотившее для нее все остальное.

– Где письмецо?... Давай! – и она нетерпеливо протянула дрогнувшую от волнения руку.

Девочка взглянула на нее своими вишенками и подала письмо.

Аграфена Петровна схватила его и, быстро повернувшись, стала распечатывать, подойдя к окну.

Служка, подождав немного, скользнула в дверь, видя, что «княгинюшка» так занялась письмом, что забыла даже приказать благодарить «матушку».

Аграфена Петровна распечатала письмо с радостью, но едва увидела первые строчки, как удивленно наклонилась, чтобы ближе и лучше рассмотреть написанное. Этот неправильный, ломаный, писанный почти по складам почерк совершенно не был знаком ей. Она перевернула страницу и посмотрела на подпись. Там стояло: «Авдотья Чернышева».

«Какая Чернышева?» – удивилась Аграфена Петровна, и опять взглянула на начало письма:

«Аграфена Петровна! – так начиналось письмо. Живите щастлива на приказе. А пишу вам по приказу Осударыне Царице. Велено вам mine штатс-да-

ме Ее Величества и сделать отписку сию-штоб вы не беспокоитца изволили на-сшот мужинька свово князя Никиты, понеже он здрав и не вридим. И Осударыня Царица по неизреченной милости своей пожаловала ево ко двору в Питербурх перевести. И тут он вельми забавен кажет. Место ему определино завидное, поставлен он всемилостивейши смотреть за собачкой Ее Императорского Величества»...

В глазах Аграфены Петровны потемнело. Она с трудом пробегла еще несколько строк и трясущимися руками разорвала письмо на мелкие клочки.

– Господи, что они сделали с ним! – с лицом, искаженным ужасом и страданием, воскликнула она, всплеснув руками и сжав их, подняла кверху.

«Больного, слабоумного, несчастного не пожалели! – мучилась она. – Из-за меня не пожалели... Нашла, нашла, чем доконать меня!.. Господи! Но он-то, он, бедный, за что страдает? Впрочем, что ж ему – он не может понять, он уже не от мира сего... Нет, но ведь я, я его имя ношу! Ох, лучше бы меня сослали в Сибирь, в каторгу, лучше голову долой – только не это!.. Только не это!»

– О-ох! – застонала княгиня, схватившись за сердце, а затем, тяжело ступая, отрывистыми шагами подошла к постели и упала на нее.

Она долго лежала неподвижно, с уставленными в

потолок глазами, потом поднялась, села на постель, опять сложила руки, стиснула их, прошептала: «Господи, Господи!» – и снова легла.

Несколько минут княгиня лежала так, как каменная, только подбородок ее сильно дрожал; потом она вскочила на ноги.

По коридору в это время слышались шаги.

«Знаю, – решила вдруг в один миг Волконская, – знаю, куда идут. Игуменья написано, чтобы она дала знать, как будет принято мною письмо. Ну, что ж, пусть, я выдержу».

Дверь действительно отворилась, и на пороге показалась игуменья.

Аграфена Петровна стояла посреди своей кельи, гордая, наружно спокойная, холодная, спиной к окну, чтобы не было видно ее лица, и заслонила собою брошенные на пол клочки разорванного письма.

Игуменья сделала какой-то вопрос и ушла.

И едва ушла она, Аграфена Петровна снова без сил упала на кровать.

Анна Иоанновна отомстила ей.

Х. Конец

Долго напрасно искали придворные слуги князя Никиту, после того как он, ответив Бирону, ушел из дворца.

Дали знать генерал-полицеймейстеру, и наконец на другой день утром генерал-полицеймейстер нашел Волконского, совсем закостенелого, у церковной стены.

Никиту Федоровича привезли во дворец без чувств, недвижимого, с крепко зажатым грошиком в левой руке.

Оскорбленный Бирон сказался больным и не прибежал в этот день к государыне.

Анна Иоанновна быстро ходила по своей опочивальне, ожидая результатов розыска, когда ей доложили, что князя Никиту привезли без чувств.

– Привести в чувство! – приказала она.

Но это приказание не могло быть исполнено.

Когда через несколько времени Анна Иоанновна осведомилась через Чернышеву, что с князем Никитой, ей доложили, что он «кончается».

Государыня вздрогнула и набожно перекрестилась. Она не ожидала этого.

– Что с ним? – спросила она.

Оказалось, что Никита Федорович, как его привез-

ли, не открывал уже глаз и все время лежал без движения, а теперь уже «обирать себя начал» и по лицу его «тьнь прошла».

– Доктора! – проговорила Анна Иоанновна. – То есть нет, священника – причастить его.

Князь Никита открыл глаза, когда его причастили. Он спокойно проглотил Святые Дары, сделал медленный, большой крест над собою и потом затих.

Никто не видел, как и когда он скончался, но во всяком: случае эта кончина была тихая и светлая. Мертвое лицо князя с застывшею, ясною и кроткою улыбкою говорило об этом.

Волконский был так торжественно спокоен, как будто с радостью, с полным сознанием своего «освобождения», о котором думал всю жизнь и которого только и ждал от жизни, встретил свою последнюю минуту здешней, земной, давно тяготившей его суеты. Он нашел наконец, чего искал, и успокоился, постигнув таинство смерти. Тут не было ничего ужасного, ничего страшного – жизнь была гораздо ужаснее и страшнее. Томление духа князя Никиты прекратилось, он был свободен теперь.

К вечеру Анна Иоанновна послала Чернышеву узнать, что с Волконским.

Чернышева застала его на столе. Его уже «убрали», и маленькая комнатка его перестала быть жи-

люю; в ней было холодно, пахло ладаном, свечами.

Авдотья Ивановна боялась мертвецов, но при взгляде на этого, лежавшего со сложенными руками на столе, спокойного, кроткого, точно заснувшего, человека, или, вернее, того, – что было человеком, ей нисколько не стало страшно, и она совсем без всякой робости положила земной поклон, а затем поцеловала застывшую, уже безжизненную руку.

Она вернулась к Анне Иоанновне, растроганная, взволнованная и старающаяся скрыть свое волнение, и, чтобы не пугать государыни присутствием мертвого во дворце, решила не говорить ей о случившемся.

Но Анна Иоанновна догадалась.

– Кончился? – спросила она.

Чернышева молчала.

– Кончился, спрашиваю я?! – грозно переспросила государыня, и статс-дама должна была ответить:

– Да!

Анна Иоанновна опять заходила по комнате.

Наконец она подошла к большому киоту с образами и грузно опустилась своим большим, тяжелым телом на колена. Перекрестившись, она сложила руки и начала молиться, кладя земные поклоны.

Чернышева прислонилась к печке и, боясь шелхнуть, притаила дыхание.

Анна Иоанновна, поклонившись в последний раз,

не без труда встала с колен и оглянувшись, как бы спросила глазами Чернышеву:

«Ах, ты еще здесь? Да, ты мне нужна».

– Вели, чтобы там, у него, все хорошо было! – сказала она ей. – Да вели заложить карету и приготовить в летнем дворце несколько покоев: я сегодня там ночую.

Она ни разу в продолжение дня, с тех пор как ей сказали, что князь Никита «кончается», не спросила про Бирона.

На другой же день императрицею был послан нарочный в Белозерское имение Бестужева с приказанием привезти сына Никиты Федоровича.

Анна Иоанновна определила Мишу в только что учрежденный ею кадетский корпус и отнеслась к нему весьма милостиво.

Впоследствии князь Михаил Никитич Волконский – генерал-аншеф и всех российских и польских орденов кавалер, был известный главнокомандующий Москвы времен императрицы Екатерины II. Он отличился в войне с турками и затем был послан в Польшу полномочным министром. Потом он участвовал в походе против Пруссии. Екатерина II назначила его сенатором и своим генерал-адъютантом. Во время междуцарствия в Польше князь Михаил Никитич, по высочайшему повелению, вступил в эту землю со вверен-

ным ему корпусом и помог избранию в короли Станислава Понятовского. В 1711 году он был назначен главнокомандующим Москвы.

Один из современников так отзывался о нем:

«Князь Михаил Никитич, одаренный от природы необыкновенным умом, любил благодетельствовать, был великий хлебосол, обходителен с низшими, но горд с временщиками. Императрица Екатерина два раза мирила его с Потемкиным».

Первая мысль о разделе Польши принадлежит Михаилу Никитичу. Он же составил проект о лучшем учреждении судебных мест и разделении империи на губернии.

Аграфена Петровна кончила дни свои в Тихвине.

Князь Никита Федорович Волконский похоронен рядом со своими родичами в Боровском-Рождественском-Пафнутиевом монастыре, при защите которого родной прадед его, Михаил Константинович, пал у самого гроба св. Пафнутия.

Конец